анна гавальда

я признаюсь

французский роман

Annotation

Я могла бы сказать, что это сборник новелл, историй, что их всего семь и все они написаны от первого лица, но я вижу книгу иначе. Для меня это не просто истории и, главное, не просто персонажи, для меня это люди. Живые люди. Из плоти и крови. Людмила, Поль, Жан и другие, безымянные, рассказывают о себе. Почти все они говорят в темноте, ночью или в такой момент жизни, когда не слишком хорошо отличают день от ночи. Пытаясь разобраться в себе, они разоблачаются, открывают душу. Получается не у всех, но даже попытки заставляют меня сопереживать. Говорить, что сопереживаешь собственным персонажам, наверное, слишком пафосно, но повторяю: для меня это не персонажи, а люди, реальные люди, мои новые знакомые, которых я и представляю вам сегодня.

- Анна Гавальда
  -
  -
  -
  - Куртуазная любовь
    - 1
    - 2
    -
    - 3
    - 4
  - Нелегалка
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
  - Мой пес умирает
  - Хэппи Мил
  - Мои ОЖ
    -

        -
        -
        -
        -
        -
        -
    - Пехотинец
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
        -
    - Мальчишка
        -
        - 1
        - 2
        -
        - 3
        - 4
        - 5
        - 6
        -
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9

- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48

- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82

Анна Гавальда
Я признаюсь

Anna Gavalda
FENDRE L’ARMURE

Печатается с разрешения Éditions Le Dilettante и литературного агентства Anastasia Lester

Серия «Современная французская проза»

© Éditions Le Dilettante, 2017
© Позднева Т., перевод, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Посвящается Бенедикте

Куртуазная любовь

1

– Перестань, говорю тебе. Зря стараешься.

Я совершенно не хотела туда идти. Я устала как собака, чувствовала себя уродиной, к тому же мне нужна была эпиляция. В таком состоянии я за себя не отвечаю и, понимая, что мне ничего не светит, всегда напиваюсь вдрабадан.

Да, я чересчур щепетильна, пусть так, но это сильнее меня: если я выгляжу не супер, а моя «киска» не выбрита безупречно, я не позволяю себе никаких вольностей.

Да еще и с шефом умудрилась сцепиться, с этим кретином, пока клетки чистила, и это окончательно меня добило.

Все из-за этих «Паппи Сенситив», новой линейки консервов «Про Канина».

– Я не стану этим торговать, – повторяла я ему, – не стану, и все. Это форменное надувательство. «Способствует улучшению умственных способностей и зрения», – зачитала я, всучивая ему обратно эти чертовы консервы по восемь двадцать за упаковку, – улучшение умственных способностей, черт знает что, ага, да если б это было правдой, их самих надо было бы этим кормить, этих придурков.

Шефулька мой, уходя, плевался и шипел: про свой рапорт, про мой внешний вид, и как я с ним разговариваю, и что постоянного контракта мне не видать как своих ушей, и бу-бу-бу, и бла-бла-бла, но мне на это было глубоко наплевать. Меня нельзя уволить, и он об этом знает не хуже меня. С тех пор как я к ним пришла, их прибыль выросла вдвое, а в качестве приданого я еще и привела к ним всю свою клиентуру из магазина «Фавро», так что…

Засунь себе в жопу свой прибор учета рабочего времени. В жопу.

Не знаю, с чего это он так из кожи вон лезет с этим поставщиком. Наверно, коммерсант наобещал ему кучу всяких ништяков. Чехлы для телефонов в виде косточки, зубную пасту для его пуделя или же уик-энды на море… Или лучше: уик-энд на море под видом семинара по продажам, где можно будет оттянуться по полной вдали от благоверной.

Это бы ему подошло…

Я сидела у Самии, моей подружки. Поедала сладости, приготовленные

ее матерью, и наблюдала, как Самия укладывает свои волосы, прядочка к прядке, волосок к волоску. Это отнимало кучу времени. По сравнению с этой укладкой ношение паранджи выглядело явным освобождением женщин. Я облизывала мед с пальцев и восхищалась ее терпением.

– Но послушай… С каких это пор вы торгуете всякими штуками для папиков? – спросила она.

– Чего?

– Ну эти твои консервы…

– Да нет же. Пап-пи. По-английски это щенки.

– Ой, прости, – хихикнула Самия. – Ну так и что? В чем проблема-то? Тебе что, вкус их не нравится?

– …

– Ладно, брось. Не делай такое лицо. Уже и пошутить нельзя. И вообще, пойдем сегодня со мной на вечеринку. Ну давай… Ну пажа-алуста… Ну пойдем… Лулу, хоть раз в жизни не бросай меня одну.

– Кто приглашает?

– Бывший сосед моего брата.

– Я его даже не знаю.

– Я тоже, да и наплевать! Заценим, подцепим, расслабимся, и будет о чем поболтать!

– Знаю я твоего братца, опять какие-нибудь его буржуйские дружки…

– И что? Не так уж это и плохо! Во всяком случае вас, мадам, вкусно накормят! К тому же не придется обзванивать добрую дюжину кузенов, чтобы найти, чем поживиться, а наутро тебе порой еще и свежих круассанов принесут.

Нет, правда, мне совсем не хотелось идти. Я не осмеливалась признаться, но меня ждала куча неотсмотренных серий Sexy Nicky, к тому же мне до смерти надоели все эти ее гениальные планы знакомств.

Мне становилось тоскливо от одной мысли о том, чтобы снова спуститься в метро, я замерзла, проголодалась, насквозь пропахла кроличьим дерьмом и хотела только одного: оказаться в своей постели наедине со своим сериалом.

Она отложила в сторону свою плойку «Бабилисс» и встала передо мной на колени, сложив губки бантиком, а руки – в молитвенном жесте.

Ладно, уговорила.

Вздохнув, я направилась к ее платяному шкафу.

Дружба.

Это единственное, что способствует развитию моих умственных способностей.

– Возьми мою майку «Дженнифер»! – крикнула она мне из ванной. – Она тебе будет супер!

– Э-э-э… Вот эту похабную штучку, да?

– Да брось, она классная. К тому же там на груди зверушка из стразов. Прямо специально для тебя, говорю же.

Снова уговорила.

Я одолжила у нее машинку для стрижки растительности, приняла душ и вся извертелась, пока наконец не уместила своих барышень Тити и Сиси в ее майке XXS со сверкающей Китти на груди.

Уже внизу, у почтовых ящиков, я обернулась к зеркалу посмотреть, виднеется ли сзади гребешок моего Мушуки.

О нет, черт возьми… Надо чуточку оттянуть вниз мои обтягивающие штаны.

Я обожала эту татушку. Это Мушу (на самом деле, по-моему, его имя произносится как Мущу) (это дракон Мулан[1]) (я этот мультик, не шучу, посмотрела по меньшей мере сто пятьдесят шесть раз и каждый раз плакала. Особенно в момент тренировки, когда Мулан все-таки удается залезть на вершину столба).

Парень, делавший татуху, поклялся, что набил мне самого настоящего дракона эпохи Мин, и я ему верю, поскольку он сам настоящий китаец.

– Вау… Вот это круть!

Она моя лучшая подруга, поэтому я не особенно оценила ее комплимент, но стоило мне увидеть лицо парня, выходившего в этот момент из лифта, как я поняла: это и вправду круто.

Он был в ауте.

Самия кивнула ему на стену:

– Эй, мсье… Огнетушитель здесь…

Пока он соображал, мы уже бежали к вокзалу, хохоча и держась за руки что было сил, потому как на наших каблучищах имели все шансы выступить в роли Бэмби и Топотуна[2] в ледовом шоу «Холлидей он айс».

Мы сели на поезд СКОП в 19.42 и проверили по табло, что если что-то пойдет не так, то у нас всегда есть в запасе ЗЕВС в 0.56, чтобы вернуться домой. В поезде Самия достала свои судоку, чтобы выглядеть эдакой

конченой занудой, иначе бы к нам все время приставали.

2

Что до буржуйских друзей, то тут ты не ошиблась. По крайней мере четыре домофона преграждали путь к этим Чипстерам.

Четыре!

Честное слово, на этом фоне префектура Бобиньи – ну просто игрушечная ферма «Плеймобил».

В какой-то момент я уже было поверила, что эту ночь нам придется провести в обнимку с желтым мусорным баком. Рехнуться можно. А тут еще и Сами, как обычно, во всей своей красе: «Телефон-заблокирован-но-все-же-отправлю».

На наше счастье, какой-то парень вывел пописать своего карликового шнауцера, иначе бы мы до сих пор там торчали.

Мы прямо-таки набросились на него. Бедолага чуть не обделался. Хотя я ни за что в жизни не раздавила бы животное. Даже если, по правде сказать, к шнауцерам особой любви не питаю. Меня никогда не прикалывала грубая щетина. Борода, усы, бахрома на животе и вокруг лап, нет, серьезно, все это требует столько ухода, что убиться можно.

После того трезвона всех домофонов, который мы устроили, нас наконец-то впустили, а уж оказавшись в тепле, горячительное мы искали недолго.

Потягивая тепловатый, почти тошнотворный пунш, я просканировала помещение, оценивая ассортимент в свободном доступе.

Мдам. Я уже стала сожалеть о своем сериале. Сплошные маменькины сыночки, одетые по последней моде. Меня от таких совершенно не втыкает.

Вечеринка была по поводу какой-то высокохудожественной фигни, если я правильно поняла. Выставка фоток, которые сделала какая-то девица, съездив в Индию или куда-то еще. Я не разглядывала. В кои-то веки оказавшись с правильной стороны кольцевой автодороги, я не испытывала ни малейшего желания снова смотреть на бедных.

Так, ладно, не то чтоб у меня дома чего-либо не хватало.

Самия уже вовсю охмуряла какого-то гота с прядью волос, свисавшей ему на глаза, подведенные взятым у матушки черным карандашом «Жеме», и, честно говоря, мне никак не удавалось просчитать карнавальный план подруги, пока совсем рядом с ее маленьким заклепанным Дракулой я не

заметила его приятеля в «Гуччи».

А, ну тогда о’кей. Тогда понятно. Тогда это хорошее селфи.

Уж я-то ее знаю, мою Самию. Мысль о том, что впервые в жизни ей, быть может, доведется потереться о настоящий ремень от настоящего «Гуччи», а не о какую-то подделку с Порт-де-Клиньянкур, создавала парню самые благоприятные условия.

По крайней мере, его херу.

Чтобы не выглядеть так, будто я им свечку держать собралась, я отправилась осматривать квартиру.

Фу.

Сплошные книги.

Сочувствую домработнице…

Я наклонилась рассмотреть фотографию кота. Священный бирманец. Это было очевидно по его белым «носочкам». Мне они нравятся, хотя с ними непросто. Да еще и просят за них… Один бирманец стоит как два сиамских, такие ножки обходятся недешево. Все это напомнило мне о том, что мне еще предстоит распаковать все мои когтеточки и веревочные деревья. Уф… В этом отделе и так совершенно нет места. Дождусь окончания акции на…

– Знакомьтесь: Арсен.

Черт, как же он меня напугал, этот идиот.

Я его не видела. Парня, который сидел в кресле прямо за моей спиной. В скрывавшей его полутьме можно было разглядеть только его ногу. Ну, то есть скорее даже… его гейские носки и черные ботинки. И еще – руку на подлокотнике. Огромную руку, в которой он крутил маленький коробок спичек.

– Это мой кот. Точнее, кот моего отца. Арсен, познакомься, это…

– Э-э… Лулу.

– Лулу?

– Да.

– Лулу… Лулу… – повторил он суперзагадочным тоном, – Лулу, это может быть Люси или Люсия. А может, Люсилия… Или даже Людивина… Если только не… Люсьенна?

– Людмила.

– Людмила! Вот это мне повезло! Пушкинская героиня! А как там ваш Руслан, моя дорогая? По-прежнему разыскивает вас на пару с коварным

Рогдаем?

На помощь.

Черт побери, стоит только какому-то психу сбежать из-под надзора, и, можешь не сомневаться, он достанется мне.

Ты прав. Вот это мне повезло.

– Прости, что? – сказала я.

Он встал, и я увидела, что внешне он совсем не такой, как я его себе вообразила по ногам. Что он даже откровенно симпатичный. Блин, мне от этого было не легче.

Он спросил, не хочу ли я выпить, и, когда вернулся с двумя бокалами – не с пластиковыми стаканчиками, а с настоящими стеклянными бокалами с его кухни, – мы с ним вышли покурить на балкон.

Я его спросила, почему кота назвали Арсеном, не из-за белых ли перчаток Арсена Люпена[3], чтобы дать ему понять, что я не такая дура, какой кажусь, и тут же заметила, как легкое разочарование проскользнуло в его глазах. Он наговорил мне с три короба комплиментов, но было видно, что про себя думал: «Вот ведь дерьмо, а с этой дурочкой будет не так просто переспать, как казалось».

Вот именно. Не верь глазам своим. Я грубовата, но это маскировка. Как гекконы на деревьях или полярные лисы, меняющие свой окрас зимой, так и я – меня настоящую не видать.

Есть такие куры, не помню, как называются, так вот у них перья на лапах, и они заметают свои следы, когда идут, ну а я в общем-то такая же, только еще хуже: я сметаю все заранее, даже не сделав первый шаг.

Почему? Потому что мое тело вечно искажает мою суть.

(И особенно сильно, когда я надеваю убойные майки своей подружки Самии, надо признать.)

В общем, начали мы с его кота, затем перешли на котов в целом, потом на собак, и то да се, и что они не столь благородные, зато куда более преданные, и уж от этого, неизбежно, добрались до моей работы.

Его не на шутку восхитило то, что я отвечаю за всю живность в «Анималенде Бель-Эбуа».

– За всю?!

– Ну да… За червей для рыбной ловли, за собак, морских свинок,

песчанок, карпов, попугаев, канареек, хомяков и… уф… еще за этих… за кроликов… карликовых, вислоухих, ангорских… Ну и за всех прочих, кого из-за рома я сейчас позабыла, но кто все равно находится там, вот так!

(На самом деле я не совсем заведующая, но поскольку он живет напротив Нотр-Дама, тогда как я в северном пригороде за «Стад-де-Франс», то я почувствовала, что должна как-то уравновесить наши позиции.)

– Это великолепно.

– Что именно?

– Да нет, я имею в виду, что это все так колоритно. Прямо как в романе.

Да что ты? – подумала я про себя. – Таскать, маркировать, поднимать, складывать штабелями мешки кормов с тебя весом, объясняться с клиентами да с безумными заводчиками, которые вечно лучше всех во всем разбираются, с кинологами, вечно недовольными ценами, с бабульками, которые битый час не дают проходу, допекая тебя своими историями про старых брошенных кисок или же требуя обменять хомячка, которого уморил их внучек, с таким раздражением, словно их обманули с размером одежды. Объяснения с начальством, график работы, меняющийся на раз-два из-за всяких лизоблюдов, перерывы, за которые приходится бороться, а еще надо накормить всю ораву, проверить поилки, рассадить доминантных, убрать подальше дохляков, вышвырнуть окочурившихся и поменять более семидесяти лотков за день – это что, и впрямь так колоритно, да?

Без всяких сомнений, судя по тому, что он задал мне тыщу миллиардов вопросов.

И кто такие эти новые животные-компаньоны, и правда ли, что есть люди, занимающиеся разведением питонов и кобр в своих двухкомнатных квартирках, и есть ли толк от всяких мятных вкусняшек для собак, потому как у его деда был лабрадор, у которого чудовищно воняло изо рта (дальше в разговоре он уже говорил не «дед», а «дедушка», как пишут на банках варенья для богатеньких, это было мило), и люблю ли я крыс, и правда ли, что фильм «Рататуй» породил настоящую крысоманию, и кусали ли меня, и делала ли я прививку от бешенства, и держала ли я когда-нибудь в руках змею, и какие породы лучше всего продаются, и…

И что делают с нераспроданными?

Как поступают со щенками, которые слишком выросли?

Их что, убивают?

Ну а мышей? Если они чересчур расплодятся, их отдают лабораториям

на опыты?

А еще правда ли, что люди спускают своих черепах в унитаз, а панки как заботливые мамочки носятся со своими собаками, и правда ли, что кролики не любят коноплю, а в парижской канализации свободно расхаживают крокодилы, и… и…

И я совершенно окосела. Но в хорошем смысле слова. Не то чтобы он меня достал, просто я захмелела.

Была подшофе, чего уж там.

А поскольку я обожаю свою работу, то вернуться к своим обязанностям меня, признаться, абсолютно не напрягло. Хоть я и находилась в богатом доме, к тому же рабочее время давно закончилось.

Я описывала ему все свои товары, снизу доверху, от стружек до потолка, и он слушал меня супервнимательно, приговаривая: «Потрясающе. Потрясающе».

Потрясающе.

– А рыбками ты занимаешься?

– И рыбками тоже, – кивнула я.

– Давай. Рассказывай.

Это было странно. Я развлекалась на все сто, хотя даже и не напилась всерьез.

Это было… Как он тогда сказал?

Колоритно.

– Прежде всего, мсье, необходимо сделать выбор между морскими и пресноводными, потому как вместе они далеко не уплывут. Ну а дальше, для аквариума с обычной водой я бы посоветовала вам очень красивых скалярий с длинными, элегантными плавниками – их движения столь величавы, а еще округлых дискусов – они действительно великолепны… А также данио, барбусов, расбор и голубых неонов, флуоресцентно поблескивающих, словно настоящие сокровища… Как светлячки, только в воде… Не стоит забывать и об отоцинклюсах, отменных чистильщиках, поедающих водоросли, и о сомиках плекостомусах, очищающих стекла, и… уф… лично мне еще очень нравятся боции-клоуны с тремя черными полосами поперек тела, суперстильные, но они в основном обитают на дне. Их нечасто можно увидеть. А еще – гуппи… И гурами тоже. Но с ними надо держать ухо востро, они агрессоры. Вечно порываются сожрать неонов. В любом случае советую вам выращивать их всех вместе, а

покупать совсем маленькими. Само собой разумеется, мы предлагаем широкий выбор аквариумов. «Акватлантис», «Нано», «Эхайм», «Суперфиш» и, конечно, любые аксессуары, имеющиеся на рынке, а также эксклюзивную импортную продукцию. Гравий, камни, водоросли и водные растения, декор, системы фильтрации и подогрева воды, компрессоры и наборы для изменения кислотно-щелочного состава. Вот видите… У нас есть все…

Впервые в жизни я встретила человека, которого настолько интересовала, прямо-таки увлекала моя повседневная рутина.

Склад в самом конце магазина, километры, которые я прохожу за день, усталость, заботы о гигиене, борьба с чесоткой, с лишаем, с ринитами и все прочее. К тому же, мне кажется, он был искренним. Все это его действительно интересовало. Иначе мы бы уже давно заметили, что замерзаем за своей болтовней, облокотившись о перила балкона над зимним Парижем.

Я не говорю, что он втихаря не ощупывал меня глазами, но это было… э-э-э… как и он сам – ненавязчиво. И от этого тоже я чувствовала себя необычно. Ни я, ни моя грудь не привыкли к таким любезным манерам.

Я покрылась гусиной кожей, он предложил пойти внутрь, и мы вернулись к музыке и дыму.

Не успел он закрыть балконную дверь, как на него накинулась какая-то худющая девица, вся из себя возбужденная, и с придыханием принялась его расспрашивать, да где он пропадал, да чем он занимался, да почему музыка такая ду… и тут только она примолкла, заметив, наконец, меня.

Такая новость разом отрезвила эту тощую селедку.

– Ой, извини, – скривилась она, – я не знала, что ты… э-э-э… в такой *хорошей* компании…

(Да, да. Я это не выдумала. Эта маленькая дрянь действительно произнесла слово «хорошая» с особой интонацией.)

– Да. Ты не знала, – с кошачьей улыбкой ответил он.

Она посмотрела на меня и, растянув свои пухлые губы как можно шире, одарила любезной улыбкой, в которой читалось примерно следующее: «Гормоны разбрызганы, территория помечена, так что толстуха уберется отсюда немедленно, или я порву ее на куски», после чего повисла у него на плече, с тем чтобы отбуксировать к остальным.

Я тем временем попыталась разыскать мою Самию, но безуспешно.

Возможно, она была уже где-то на полпути к Италии, проследовав туда через свой «Бермудский треугольник»…

Никакой еды не осталось, музыка и вправду была отвратительная: как бы громкая, но так, чтобы не дай бог не побеспокоить соседей, гости сбились в маленькие непроницаемые группки, обособившись друг от друга.

Я достала из сумки пуловер и натянула его, чтобы мой Мушука не застудил свой носик, и, прежде чем пойти за своей курткой, просканировала напоследок квартиру, просто чтобы попрощаться с человеком, который единственный за весь вечер со мной заговорил.

Его обнаружить не удалось. Всего пару минут назад он был так увлечен, но, стоило только какой-то телке его подцепить, и он тут же переключился.

Что ж… Так бывает. Во всяком случае, со мной. И даже часто. Если парень проявляет интерес не только к моему товару, то это обычно длится недолго.

Быстро облапанная или быстро брошенная. Такая уж моя до-о-ля.

Я тут давеча рассказывала обо всех неприятностях, которые мне доставляет моя работа, но дело в том, что никогда ни один из моих питомцев не обошелся бы со мной подобным образом. Никогда.

Я уделяю им время, отношусь к ним по-человечески, забочусь о том, чтоб им было хорошо, и они помнят об этом.

Вне зависимости от времени дня всякий раз, как я прохожу мимо клеток, каждый из них так или иначе выразит мне свое расположение.

Они перестают жевать, поднимают головы, пищат, повизгивают, чирикают, сучат лапками, свистят и даже поют, а стоит мне уйти – алле-оп! – и мое зверье возвращается к своей еде.

Кстати, всякий раз, когда кто-то из них нас покидает, я грущу. Даже если это маленькая беленькая мышка или какой-нибудь идиотский попугайчик и даже если покупатели симпатичные.

Это полностью вышибает меня из колеи, и я надолго замыкаюсь.

Самия говорит, что это потому, что мои родители далеко и я накапливаю в себе нехватку любви. Не знаю. По-моему, на самом деле я просто дура.

Ух. Как же холодно. Внутри. Снаружи. И в голове, и на улице. Пальцы как ледышки, на душе промозгло.

Именно в такие моменты мысль о подведении жизненных итогов

особенно неудачна, и именно в такие моменты побороть ее невозможно.

Я одна. Живу в мерзкой студии. Она еще меньше, чем каморка для отдыха на работе. По воскресеньям я хожу в гости к сестре и играю с ее малышами, пока она помогает мужу заканчивать отделку их дома; в отпуск я никогда никуда не уезжаю, потому что мои любимые покупатели и некоторые жильцы моего дома оставляют своих животных на мое попечение. А еще на мне Ширли, маленький йорк консьержки. Все это служит прекрасным предлогом, чтобы не ездить в гости к дяде и тете, а кроме того, покрывает расходы на квартплату.

Все остальное время я вкалываю.

Иногда я хожу куда-нибудь с подружками и всякий раз попадаю в идиотские истории, одна хуже другой. На самом деле, когда я говорю «истории», это не совсем уместное слово, ну да ладно, и так все понятно.

Одна девица с работы доканывает меня, призывая искать любовь в интернете, но меня это совершенно не прикалывает.

Всякий раз, когда я что-либо заказывала, поверив фотографиям, результат меня разочаровывал. Люди совсем с ума посходили со своими компьютерами. Они всерьез во все это верят, хотя все это просто товар, выставленный на продажу в светящейся витрине.

Никто и не догадывается, что я могу быть такой. Что я из тех, кто мысленно в одиночку подводит жизненные итоги, разбирается в уместных и неуместных словах и даже имеет свою мнение об интернете.

В любом случае никто ничего не знает, так что…

Я вот еще несколько часов назад не знала даже, что посреди Парижа есть целых два острова. Только что, болтая на балконе, это обнаружила. В двадцать три года это печально.

Я быстро шагала к «Шатле», потому что боялась опоздать на свой поезд, а такси я себе позволить сейчас не могла, как вдруг:

– Принцесса! Принцесса! Не бегите так быстро! Вы потеряете ваш башмачок!

О нет…

Глазам своим не верю…

Снова этот агент Малдер…

Возможно, он что-то забыл у меня доспросить? Сколько стоит канарейка или прогулочный шар для хорька?

Он согнулся пополам и пытался отдышаться:

– По… Почему вы так… так быстро ушли? Вы… уф… вы не хотите выпить еще чего-нибудь напоследок?

Я объяснила ему, что не хочу упустить своего ЗЕВСа, и он рассмеялся, а потом предложил проводить меня на Олимп, и мне стало грустно.

Он был реально крут, и я прекрасно понимала, что долго не продержусь. Что, если я хочу продолжить игру, то придется соглашаться на постель. Да, я знала, что, за исключением моего зверья, мне больше нечего ему предложить, а все остальные мои козыри куда более банальны.

Я ничего не ответила.

Мы вместе сбежали вниз по лестнице, и там, поскольку у него не было билетика, я велела ему прижаться ко мне, чтобы пройти через турникет вдвоем.

Хе-хе… Сама себе сделала подарок и заулыбалась как Гарфилд.

На станции было пустынно, атмосфера стремноватая: у входа в туннель уже начала работу драгдилерская точка, вокруг лишь несколько гуляк весьма помятого вида да мертвые от усталости уборщицы.

Мы присели на последнюю свободную скамейку в самом конце перрона и стали ждать.

Старая как мир тишина.

Он молчал, не задавал больше вопросов, а я из страха, что у меня на лице написаны и вся моя непутевая школьная жизнь, и то, что я не получила никакого диплома, вела себя как геккон: не шевелилась, слившись с привычной мне средой.

Я читала рекламные слоганы, разглядывала собственные ноги и валявшиеся на полу обрывки газет, старалась подобрать отсутствующие слова и гадала: неужели он и впрямь собрался провожать меня до самого дома? Меня это чудовищно напрягало. Я была готова ехать хоть до Диснейленда через Орли, лишь бы только он не получил ни малейшего представления ни о моей жизни, ни о том месте, где я живу.

Ну а он рассматривал людей, и чувствовалось, что ему страшно хочется порасспросить их так же подробно, как меня.

Почем грамм? Откуда товар? И сколько вы навариваете? А если облава, что делаете? Убегаете по туннелю, да? А вы? Что отмечали? День рождения? Футбольный матч? И куда вы теперь? А ваши вещи от

блевотины по-прежнему очищает ваша мама? Ну а вы, мадам? Убирались в офисе или в магазине? Тяжело? По крайней мере вам дают хорошие пылесосы? Вы из какой страны? А почему вам пришлось оттуда уехать? Сколько заплатили за выезд? Вы сожалеете? Да? Нет? Немного? А дети у вас есть? И кто сидит с вашими детьми, когда вы за полночь ждете поезд так далеко от Мали?

И все же через какое-то время, чтобы типа восстановить контакт, я не выдержала:

– Такое впечатление, что вы интересуетесь всеми подряд.

– Да, – пробормотал он, – это правда. Всеми… Действительно, всеми…

– Вы работаете в полиции?

– Нет.

– А чем вы занимаетесь?

– Я поэт.

О черт, вид у меня был дурацкий. Я даже не знала, что такая профессия все еще существует.

Он, судя по всему, это понял, поскольку добавил, повернувшись ко мне:

– Не верите?

– Верю, верю, просто… уф… э-э… Но это ведь не настоящая работа, чего уж там…

– Правда?

И он разом вдруг как-то погрустнел. Серое лицо, глаза брошенного спаниеля. Нет, правда, стало неприкольно, а мне не терпелось увидеть свою волшебную тыкву снова в форме.

– Возможно, вы правы, – сказал он совсем тихо, – возможно, это не работа. Но что тогда? Обманка, милость, честь? Мошенничество? Судьба? Или же удобный прием, чтобы заболтать красивую девицу, в жутком месте поджидающую молниеносного бога?

Блин. Возвращаемся в четвертое измерение.

Вот что случается, когда метишь выше собственной задницы – теряешь равновесие при первом же дуновении ветра.

А эта жирная ленивая электричка все не приезжала…

После паузы, куда более тяжелой, чем перед этим, поскольку теперь он глядел не вовне, а внутрь себя, и то, что там находилось, было отнюдь не

столь «колоритно» и увлекательно, как пара наркоманов, трое пьянчуг и видавшая виды тетка, так вот после паузы, не поднимая головы, он задумчиво добавил:

– И тем не менее. Вот вы, Людмила, например. Вы. Вы живое доказательство того, что поэты нужны. Вы…

Я не сдвинулась ни на миллиметр, потому что мне было очень любопытно узнать, кто же я такая.

– Вы настоящая блазонная мечта.

– Что, простите?

Он просиял. И наконец вернулся к нам:

– В шестнадцатом веке, – затараторил он, снова повеселевший и уверенный в себе, – все рифмачи, стихоплеты, версификаторы и прочие фантазеры прикладывали к этому руку, или, иначе говоря, припадали к тем божественным прелестям, коими порой вы милостиво нас одариваете. Сочинение блазона состояло в прославлении разных частей женского тела исключительно простым и деликатным образом, и вот вы, прекрасная Лулия, когда я увидел вас…

Он придвинулся ко мне и, коснувшись моей головы, мягко проговорил:

Кудри длинные, прекрасные и вольные,
Тем сильнее мое сердце полонившие…[4]

Его рука скользнула по моим пирсингам к кольцу в ухе:

Ушко в сердце отражает
То, что ротик выражает.
Кто до щек решил дойти,
С ушком должен речь вести…[5]

И я окончательно окосела:

Мглу рождает и гонит прочь
Бровь изогнутостью своей…[6]

Затем его палец, как в детской считалке, проследовал дальше:

Нос ни длинный, ни короткий,
Гладкий, ладный и красивый…[7]

Я улыбалась. Он дотронулся до моих зубов:

Зубов прекрасных ровная гряда,
Ваш строй глаза не может утомить,
Но грустно, коль вас некуда вонзить[8].

И тут я рассмеялась.

Ну а рассмеявшись, поняла, что я сдаюсь. Ну то есть могу сдаться. Что как-то разом вдруг запахло жареным.

На табло замигала надпись «Поезд приближается». Я встала.

Он последовал за мной.

На горизонте никого, и мы сели друг напротив друга.

И снова воцарилась старая как мир, странная тишина, затерянная в стуке колес. Несколько минут спустя он заявил как ни в чем не бывало:

– Конечно, существуют и другие… Я имею в виду блазоны. Вы ведь догадываетесь, что между вашими волосами и кончиками пальцев находятся, вернее – *могли бы найтись* множество иных источников вдохновения…

– Да неужели? – стараясь не улыбаться, ответила я.

– Самый известный, например. «Блазон о прекрасном соске» великого Клемана Моро.

– Могу себе представить…

Я пересчитывала лампочки в туннеле, чтобы сохранить серьезный вид.

– Или же, к примеру, о пупке. *Сей Узелок из божьих рук как завершенье совершенств последним самым вышел,* – он смотрел на меня и улыбался, – *сей уголок, где сладок зуд в преддверьи наслаждений…*[9]

– Даже о пупке?!?! – удивилась я тоном маленькой подлизы, чрезмерно интересующейся всякой белибердой из учительских уст.

– О да… О том я и говорю… О пупке и его соседях снизу…

Ну что за вечер. Что за инопланетный план соблазнения. В самом деле черт знает что. Если бы мне кто-то сказал, что однажды я сяду в полночный поезд метро с Виктором Гюго собственной персоной и что к тому же это

будет меня заводить, вот честное слово, хотела бы я увидеть этого человека.

Тогда я его спросила, такая типа святая дотрога:

– И что же? Вы их не помните, о тех соседях?

– Помню, но… Э-э-э…

– Э-э-э что?

– Ну, в общем, мне бы не хотелось никого шокировать. Мы все-таки с вами в общественном месте, – прошептал он, указывая мне глазами на абсолютно пустой вагон.

И тут, в этот самый момент моей жизни, подъезжая к Северному вокзалу, я сказала самой себе три вещи:

Во-первых: я хочу переспать с этим милашкой. Я его хочу, потому что мне с ним весело, а если хорошенько подумать, так в мире нет ничего приятнее, чем вдвоем с милым парнем веселиться в постели.

Во-вторых: я буду страдать. Я снова буду страдать. Заранее понятно, что история провальная. Из серии войны миров, столкновения культур, классовой борьбы и тому подобного. Значит – ничего не давать. Раздеваюсь, прислушиваюсь к себе голодной, наслаждаюсь и сваливаю. Никаких телефонов, никаких смсок назавтра, ни ласк, ни нежных поцелуев в шейку, ни улыбок, ничего вообще.

Никакой нежности. Ничего такого, что могло бы оставить воспоминания. Стишок во славу, пожалуйста, но лишь пресытившись безмерно, не то наутро в понедельник я снова буду скулить как дура, подолгу замирая с крольчатами в руках.

Потому что вся эта вереница тактильных стишков, конечно, очень красива, но это типичный приемчик съема, причем прекрасно отработанный. Судя по всему, он уже тысячу раз его применял, раз знает их все наизусть.

К тому же у меня вовсе не длинные волосы.

Так что там, наверху, молчать, подытожим перед наступлением. Маршрутный лист предельно прост: здрасте, мсье. Добро пожаловать, мсье. До свидания, мсье.

Было приятно.

В-третьих: только не у меня. Только не там.

– О чем вы думаете? – забеспокоился он.

– О номере в гостинице.

– О боже, – простонал он, якобы шокированный, – пушкинские героини… Мне стоило остерегаться.

Возбужденно улыбающийся поэт – это действительно очень соблазнительно.

Я смеялась.

– *О смех, ты открываешь мне свою небесную обитель…*

Лучше и не скажешь.

3

После череды событий, после кроличьей норки с червонной пуговкой иль рубиновым фермуаром[10], после круглого милого неприступного зада и тайного хода, таящегося меж двух холмов, куда врагу не подобраться[11], после нескольких часов прекрасных глупостей и болтовни на старом добром языке былых времен, когда мы уже отдыхали и он прижимал меня к себе, я спросила его:

– Ну а ты сам?

– Что я?

– Это всё штуки, которые ты вычитал в книгах, ну а ты сам можешь сварганить хоть что-то прямо сейчас? Для меня?

– Ты о чем, о ребенке? – будто бы ужаснулся он.

– Да нет же, идиот. О стихотворении.

Он так надолго замолчал, что я уж подумала, что он уснул, и, кстати, собиралась последовать его примеру, когда он вдруг приподнял прядь моих волос.

Поглаживая на моей ягодице усики моего Мушуки, он прошептал мне на ухо:

Святой Георгий ночи краткой,
Горжусь лишь тем я, что украдкой
Смог нужные слова найти,
Чтобы к дракону подойти.

Я улыбнулась в темноте и стала ждать своего часа.

Я не хотела засыпать. Заснуть значило бы довериться, отдаться.

Конечно, я уже страдала вопреки самой себе, еще бы. Когда кто-то тебя смешит, сколько ни отрицай, но твое сердце уже поимели.

4

В итоге я поехала на ИВОНе в 06.06.

Меня окружали примерно те же люди, что были несколькими часами ранее на станции «Шатле», разве что уборщики из другой смены.

Все в состоянии коматоза.

Прижавшись лбом к стеклу, я жевала воображаемую жвачку, чтобы не так сильно сжимало горло.

Мне очень хотелось плакать. Я цеплялась за всякие глупости. Усталость, холод, ночь… Я твердила себе: «Все потому, что ты не выспалась, но вот сейчас ты примешь душ и сама увидишь, станет легче». Я выставила звук на максимум, чтобы снова заглушить все остальное.

В наушниках пела Адель. Я обожала ее голос. Он был моим собственным. Все время на грани надрыва. Ну и, конечно, до конца песни я не выдержала.

Что ж, по крайней мере не нужно будет смывать макияж.

Отыметь, оттрахать, засадить, вдуть, перепихнуться, отхерачить, чпокнуться, отработать, шпилиться, проштамповать… Вечно эти вспомогательные слова, чтобы говорить о любви, когда понятно, что никакой любви тут нет и быть не может. Но я – я никогда никому об этом не говорила, в особенности Самии, – но я, когда… У меня не бывает без. Мое тело, оно… Мое тело – это я. Это тоже я. Это то «я», которое внутри и…

И именно поэтому всякий раз я несу потери. Теряю перья.

Скорее – чешуйки.

Всякий раз.

Сама я никогда никого не предавала.

Никогда.

Я всегда любила по-настоящему.

О, смотри-ка… Вот и они: многоэтажки, граффити, комиссариаты полиции, капюшоны, плевки.

Вот я снова и дома.

Покинув ИВОНа (того поэта я даже не узнала, как зовут), я глубоко вздохнула и отправилась прямиком домой, в постель.

Я дула на свои пальцы, улыбалась сама себе, подбадривала. Ладно, говорила я себе, ладно… В этот раз все было по-другому, в этот раз тебя отблазонировали.

Ну все-таки.
Это высокий класс.

Нелегалка

1

Я переехала с детьми в крохотную квартирку за Пантеоном.

Пятый этаж без лифта, никудышная, несуразная, вся кривая и косая, я подсняла ее у сестры своего бывшего научного руководителя, с которой никогда в жизни не встречалась, и по телефону оказалась неспособной даже сказать, как долго намерена здесь прожить. Временное решение, временное положение, временная мера, она только об этом и говорила, и я предпочла ей не перечить. Конечно. Конечно. Все это временно. Я поняла.

Из слухового окошка в моем кабинете был виден запасной выход из святилища Великих Людей, мне нравилась эта маленькая дверь. Мне было приятно осознавать, что я работаю, сплю, готовлю, сжимаю зубы, воспитываю детей и все начинаю с нуля под сенью призраков Дюма, Вольтера, Гюго или же Пьера и Мари Кюри. Я знаю, это смешно, но честное слово, это правда. Я в это верила. Эти люди мне помогали. Большую часть нашей прошлой жизни мне пришлось упаковать и вывезти на склад, а здесь мы не имели права даже имя свое указать на почтовом ящике. Это мелочь, но дьявол прячется в мелочах, и уж тут он мог ликовать вовсю, ибо, хоть я и была прописана у одного из моих дядьев, но без почтового ящика, в таком паршивом жилье под самой крышей, поддерживаемые лишь мертвецами, куда более живыми, чем мы сами, на самом деле мы как бы перестали существовать. Нас не было ни там, ни где бы то ни было еще, и, перестав существовать, мы – пятилетний Рафаэль, Алиса трех с половиной лет от роду и я, тридцатичетырехлетняя в ту пору, – сами себя коварно отрезали от остального мира.

Отец детей погиб в автокатастрофе в прошлом году. Это был депрессивный, элегантный и добросовестный мужчина, оставивший меня с глубокими сомнениями относительно случайности своего столкновения с поклонным крестом на пустынной дороге в Финистере[12], но с полной определенностью в материальном плане, оставив мне в наследство, помимо двух сирот и сильно искореженного «Ягуара», денежное возмещение по договору страхования жизни, защищавшее нас от нужды на несколько лет вперед. На сколько именно, мне было неизвестно.

Он был гораздо старше меня, знал, что болен, не мог смириться с тем, что ему придется угасать на наших глазах, и без устали мне твердил, что я должна найти себе более молодого и здорового любовника, что я должна

это сделать для себя, для детей и для успокоения его души. Главное, любовь моя, для успокоения моей души… Ты же знаешь, я такой эгоист… Я затыкала ему рот, сколько могла, своими поцелуями, протестами, отказами, бравадами, смехом и слезами, а потом, в конце концов, он все-таки утер мне нос.

Я очень на него разозлилась. Долгое время мне казалось, что, якобы избавив нас от переживаний по поводу своей деградации, он, наоборот, навсегда нас на них обрек. Я не позвала детей на его похороны и родных его не позвала, я одна проводила его в крематории Пер-Лашез и, возвращаясь обратно на метро, прятала под свитером еще теплую урну. В тот вечер я до смерти напилась с Лоренцем В., его партнером, и упросила его трахнуть меня. Я тогда была очень сентиментальна, как это часто бывает с молодыми вдовами. Я прожила несколько месяцев с головой, зажатой в придорожном кресте, а потом решила переехать, и эта маленькая квартирка нас спасла.

Здесь не было ни мебели, ни воспоминаний, ни соседей, ни мясника, ни булочницы, ни киоскера, ни официанта кафе, ни виноторговца или служащего химчистки, который бы знал его и любил, потому что он был на редкость приятным человеком, здесь не было детсадовских друзей, столь же простодушных, сколь безжалостных, ни сочувствующих воспитательниц, слишком добрых, чтобы быть искренними, ни ориентиров, ни привычек, ни почтового ящика, ни дверного звонка, ни лифта, ни подстраховки, ничего – и мы наконец смогли расслабиться в нашем горе.

Вся наша жизнь теперь сжалась до четырех точек: универсам внизу, детский сад на улице Кюжа, аллеи Люксембургского сада и last but not least[13] паб «Бомбардировщик», притулившийся прямо напротив церкви Сент-Этьен-дю-Мон, где по вечерам мы всегда останавливались на паперти передохнуть, Рафаэль и Алиса пили лимонад, подсчитывали свои баллы, синяки, стеклянные шарики, карточки с покемонами или что там еще, пока их мама мягко, но уверенно нагружалась.

Уложив детей спать, я частенько спускалась обратно, на взлетную полосу «Бомбардировщика», и, никогда ни с кем не заговаривая, пристраивалась к тусующимся здесь студентам из Латинского квартала с пинтой пива в руке.

Да, я это делала. Да, я закрывала на ночь своих малышей и оставляла

их одних. Снились ли им кошмары? Было ли им страшно? Просыпались ли они? Случалось ли им звать меня порой?

Не думаю.

Дети такие мудрые…

Когда мой любимый задумывался о своем крестном пути, он пил, и я частенько пила с ним за компанию, поскольку в общем-то мы были с ним заодно, ну а когда его не стало, я продолжила путь без него. У меня были некоторые проблемы с алкоголем, признаю. Хотя нет, смотрите-ка, все еще отрицаю. У меня не было никаких проблем с алкоголем, я просто была алкоголичкой. (Это ужасно, перечитав написанное, на последнем слове я осеклась, вернее даже споткнулась о него, спросила себя, не перебарщиваю ли я в духе той молодой сентиментальной вдовы, о которой писала выше, пошла проверить по словарю определение слова «алкоголик»: «Тот, кто пьет слишком много алкоголя».) Да, так. Я пила слишком много алкоголя. Распространяться на эту тему я не хочу, кто знает, тот знает, им незачем рассказывать, с какой изобретательностью мозг отправляется в услужение зеленому змию, ну а тем, кто не знает, все равно не понять. Однажды наступает момент, когда вдруг понимаешь, что выпить (и все связанные с этим помыслы: бороться, противостоять, торговаться, уступать, отрицать, продвигаться, сражаться, вести переговоры, ходить гоголем, сдаваться, раскаиваться, наступать, отступать, колебаться, падать, терпеть поражение) – это твое основное занятие. Пардон. Единственное занятие. Тот, кто однажды или не раз, но всегда тщетно, пробовал бросить курить, может иметь смутное представление о том моральном страдании, в которое нас погружает бессмысленность таких отношений с самим собой, с той лишь разницей, и разницей огромной, что курение в глазах общества не считается чем-то постыдным. Ну вот. Ладно, проехали.

Я поднимала детей, одевала их, мазала им бутерброды, наливала горячий шоколад, отводила их в садик, выпивала чашку кофе на улице Суффло, листала газету, делала покупки, прибиралась в нашем домике, готовила детям обед, возвращалась за ними на улицу Кюжа, кормила их, провожала Рафаэля обратно в его группу и торопилась домой с Алисой, чтобы она не успела заснуть в коляске, укладывала ее, читала детективы, которые покупала на книжных развалах у «Жибера», «Булинье» или у букинистов по пятьдесят центов или по евро за штуку, будила Алису, мы шли с ней за братиком в сад (детский лепет выспавшейся малышки и радость большого мальчишки, наконец-то выпущенного на свободу, – лучшее время дня), я вела их в Люксембургский сад, смотрела, как они

играют, дома мыла их, кормила ужином, читала им книжки, целовала перед сном и подтыкала одеяло.

И все это время алкогольные тиски не разжимались ни на минуту.

Ни на минуту не разжимаясь, лишь усиливая или ослабляя давление в зависимости от того, была ли я обессилена луной в своем животе или же ко мне внезапно являлся пошептаться мой любимый. Когда он просто приходил убедиться, что все хорошо, все было хорошо, но когда он в свою очередь стискивал мой живот, когда он являлся ночью и требовал свою половину постели, свою часть жизни и нас самих, я вскакивала в слезах и отправлялась на очередную «бомбардировку».

Я говорила, наша жизнь сильно сжалась.

А потом, однажды утром, я заметила тебя.

2

Я заметила тебя, потому что ты была красивой.

Я стояла, облокотившись о стойку и борясь с ночным недосыпом, читала новости дня, слушала болтовню своих соседей по сахарнице и наблюдала за тобой в зеркале над баром. Ты всегда сидела там, в глубине зала, на одном и том же месте.

Я любовалась твоей внешностью, осанкой, манерой держаться, элегантностью, руками, мне нравилась твоя веселость, улыбчивость и эта твоя манера быть здесь и в то же время где-то очень далеко отсюда, словно ты только что покинула объятия любимого или же готовишься к встрече с ним. Сексуальная, на вид умная, само совершенство, однако что-нибудь в тебе всегда было несообразным – прядь волос, воротничок, сборка, слишком свободный браслет часов, видавшая виды сумка, выбившийся из шлевки пояс, складка, круги под глазами – что-то, делавшее тебя… хотела было написать «неотразимой», но это чересчур очевидно. Фатальной.

Да-да, фатальной. С тех пор как существует Париж, о парижанках уже столько всего напридумано, сказано да понаписано, и теперь, глядя на тебя, я говорила себе: вот, это об этом, это о ней. Это все о ней, и нет ничего верней.

Я так остро ощущала твою красоту еще и потому, что в зеркале в пандан твоему видела собственное жалкое отражение, и стоило мне его заметить, как я принималась усердно перемешивать свой кофе. Я выглядела черт-те как, худая, бледная, в одних и тех же джинсах, которые носила не первый месяц, надевая поочередно одну из двух пар, в рубашках моего покойного, в его кашемировых свитерах, с его платками и шарфами, в его же пиджаках, с коротко остриженными волосами, дабы не заниматься больше своей прической, я перестала краситься и пользоваться духами, я бросила бегать, но не расставалась со своими кроссовками, на одном из зубов у меня был кариес, а может, и на двух, я и не думала их лечить, я слишком много пила, была обезвожена, с шершавыми руками, сухой кожей, сухим телом, и все во мне дурно пахло.

Ты мне потом призналась, что тоже наблюдала за мной и завидовала моей непринужденности и шику. Смешно.

Ты заметила изысканные хлопковые вставки на карманах моих потертых джинсов, сколь нежны мои слишком длинные кардиганы, рукава

которых заменяли мне митенки, качество твида и прочих материй, в которых я хоронилась.

Тебе все это казалось шикарным, таким шикарным, говорила ты…

Ты всегда заказывала кофе со сливками и бутерброд, с которого маленькой ложечкой снимала излишки масла, и большую часть времени занималась смс-перепиской. Склонившись над экраном своего телефона, ты улыбалась. Было несложно догадаться, что ты влюблена и начинаешь свой день, болтая с мужчиной (женщиной?), который (которая?) делает тебя счастливой. Порой твои улыбки увлажнялись, а ямочки на щеках выглядели шаловливо. Как это назвать – когда, улыбаясь, смсничаешь о сексе? Что начинаешь свой день с смс-секса? Да, каждое утро ты с аппетитом кусала свежую булку, обмакнув ее в кофе со сливками, и обсуждала свою жизнь с кем-то любимым, это бросалось в глаза.

В другие разы твой телефон оставался в сумке или же лежал около чашки и молчал. Ты была все так же прекрасна, но выглядела слегка потерянной, сбитой с толку. В такие дни тебе случалось смотреть по сторонам, и мне кажется, что именно тогда мы с понимающим видом улыбнулись друг другу. По правде сказать, в этом не было никакого дружелюбия, простая учтивость между пассажирами одного и того же корабля. Частенько говорят о сухости парижан и никогда о таком вот взаимопонимании, которое известно только им самим. Таким образом, мы стали шапочно знакомы, но, возможно, так никогда и не заговорили бы друг с другом, если бы однажды не заболела воспитательница Рафаэля и я не явилась бы поутру в «Кафе де ля Сорбонн» с двумя моими зайками наперевес.

Мы выбрали столик рядом с тобой, признаюсь, неслучайно, и не успели усесться, а ты уже пожирала глазами мою малышку. Алиса, которую жизнь еще не научила тому, что она не настоящая принцесса, отвечая твоему жадному взгляду, исполнила тебе свой коронный номер маленькой обольстительницы, и я видела, как ты таяла, когда она показывала тебе свою любимую мягкую игрушку, потом игрушку своего брата, свою переводную татуировку «Малабар», потом татуировку брата, свои разноцветные стеклянные шарики, потом стекляшки брата, скрещивая и разводя в стороны свои пухленькие ножки и безостановочно поправляя на голове крохотную заколку с блестками, служившую ей диадемой.

Однажды об этом стоило бы написать: об изяществе совсем маленьких девочек.

Дети полностью захватили твое внимание, и в тот день мы едва перекинулись парой слов. Я узнала, что тебя зовут Матильда, потому что об этом тебя спросил Рафаэль, но я сама ничего не говорила. Я молчала, потому что почти не спала в ту ночь, я молчала, потому что мне надо было как-то подлечиться, а с детьми на руках это непросто (вот что значит алкоголизм: приблизиться к женщине, которая не первую неделю тебя восхищает, благодаря светлому присутствию двоих детей, не просто чудесных, но еще и твоих – вот ведь какие молодцы, позавтракать с ними всеми в кафе за баснословные деньги в городе, который восхищает весь мир, и все это время думать лишь об одном, хуже того, быть полностью порабощенной этой одной-единственной мыслью: под каким товаром – и тут ты думаешь о размере, ты думаешь об объеме, ты думаешь об упаковке хлопьев, например, – смогу я спрятать бутылку «Джонни Уокера» в этой чертовой пластиковой корзинке отстойного универсама внизу моего дома?), я молчала, потому что мне нечего было сказать, я молчала, потому что все это было чересчур оглушительно, весь этот шум наверху, я молчала, потому что отвыкла говорить, я молчала, потому что проиграла.

В последовавшие за этим дни ты не приходила в «Кафе де ля Сорбонн». Затем были школьные каникулы, кажется, февральские, и однажды утром, когда я уже потеряла привычку искать тебя взглядом, ты появилась и уселась за барную стойку рядом со мной. Ты поздоровалась со мной, заказала себе лунго, мы молча посидели некоторое время. Когда я, извернувшись, полезла искать в кармане мелочь, ты коснулась моей руки и сказала: «Оставьте, я вас угощаю», и только в этот момент, когда я повернулась к тебе, чтобы поблагодарить, то увидела, что на тебе лица нет. Я накрыла своей рукой твою, и ты разрыдалась. «Простите, – ты смеялась, извинялась, сожалела, – простите, простите». Я не стала убирать свою руку, но отвернулась.

Не знаю, сколько времени мы так просидели, ты делилась со мной своей печалью, я поверяла ее своей. В какой-то момент ты прошептала: «Ваши дети… Они такие милые», и я окончательно сломалась.

Хозяин бара подошел к нам, благодушно бранясь. «И что ж это, девушки? Что ж это такое? Разве у меня так плохо? Вы мне сейчас тут всех клиентов разгоните! Что вам налить для поднятия духа? По стопке кальвадоса?»

Вот уж я была рада.

Мы выпили залпом. Ты задохнулась, я снова задышала, и под

действием этих нескольких спасительных сантилитров гелия в моих венах я пригласила тебя тем же вечером поужинать у нас дома.

Ты улыбнулась мне, я спросила, есть ли у тебя чем записать, и на картонке под пивную кружку написала тебе адрес нашего скромного жилья и – домофон обязывает – имя тех, кем мы не являлись.

3

Ты пришла нагруженная: цветы, торт, шампанское, подарки для детей… Дети были так счастливы.

Так счастливы… Не из-за подарков, а из-за того, что ты пришла. Впервые окружающий мир пробрался к нам в гости, впервые кто-то поднялся нас навестить, жизнь возвращалась.

Ты тогда этого не знала и думала, что это все твоя кукла Королль, лук и стрелы, наклейки, волшебная бутылочка и цветные карандаши так возбудили детей, но, если помнишь, развернув все эти радости, они мечтали только о том, чтобы взять тебя за руку и показать тебе свою спальню, свои игрушки, свой мир, лесенку к их двухэтажной кровати, которая все еще была им в новинку, фотографии своих детсадовских групп, фото папы и Тоби, собаки их бывшей няни, и весь свой прочий очаровательный кавардак. То счастье, которое ты им принесла, было не материальным, и ты так хорошо справлялась с ролью…

И вот тут-то, глядя, как ты взволнована, с каким вниманием и любопытством слушаешь их, стараешься запомнить имена их пупсов и плюшевых игрушек, имена их детсадовских друзей, разобраться во всяких Вигглитафах, Джигглипуфах, Слоупоках, Псидаках и прочих покемонах с самыми невообразимыми прозвищами, я поняла, что ты больна детьми, как я мучима жаждой.

Под нашим присмотром дети поужинали, потом Алиса настояла, чтоб именно ты переодела ее в ночную рубашку, расплела ей косы и долго расчесывала, и, делая это, ты не переставала восхищаться шелковистостью и золотым оттенком ее волос, и тем, как они кудрявились, и тем, как они пахли… Потом опять же ты прочла им историю, затем вторую и еще третью, пока я не вмешалась, чтоб освободить тебя от своих детей и твоей тоски.

Пока мы болтали о том о сем, отдавая должное великолепному ризотто и твоей бутылке шампанского, ты помянула мой «шик», и я возвела очи горе, к потолку, так сказать, вернее, к балкам, после чего мы переместились в гостиную, то есть пересели, на пару метров отойдя от стола.

(Тут я открываю скобки, потому что именно о нашей гостиной мне

кажется важным рассказать. Да, думаю, все продолжение этой истории проистекало из достоинств моего дивана, и не будь его, мы бы той ночью не стали друзьями. Быть может, позже, наверно, и даже наверняка, но не той ночью. Потому что я себя знаю: я влюбляюсь на всю жизнь, но влюбляюсь нелегко. И уж тем более в тот период, когда по соображениям безопасности я закрылась на все замки. В тот момент я никак не могла позволить чему бы то ни было проникнуть в мой скафандр. Даже любви. Прежде всего любви. О нет. Я была абсолютно герметичной алкоголичкой.

Мы жили в меблирашке со всем тем набором гнусностей, который подразумевается в этом слове: чересчур тяжелые тарелки, чересчур легкие одеяла, чересчур мягкие кровати, чересчур синтетические шторы, чересчур идиотские предметы (так, на камине на подставке – даже дети его вспоминают – стояло чучело пираньи), чересчур высокие стулья и чересчур уродливый диван. Понемногу я все в конце концов поменяла – время, потраченное на блуждания по отделам больших магазинов, не было утопленным в стакане, – вот только на кровати и диван моего мужества не хватило. Для этого нужно было заказывать доставку, а значит, договариваться о точной дате, а значит, строить планы на будущее, а значит – нет. Это было выше моих сил. Однако так получилось, что на прошлой неделе мы все втроем ходили на рынок Сен-Пьер за тканями для карнавала в детском саду. Справляться с будущим черт-те как, но с радостью приукрашивать настоящее, отрицать его, обманывать, наряжая и маскируя. Алиса, кто бы мог подумать, хотела платье принцессы, и мы погрязли в облаках тюля, газа, муслина, сатина и гладью расшитых тканей, а вот Рафаэль, кто бы мог подумать, хотел костюм покемона. Именно благодаря отсутствию у него воображения мы и наткнулись в маленькой лавке на улице д'Орсель на залежи искусственных мехов – настоящее золотое дно. Норка, лисица, ласка, шиншилла, кролик, Пикачу[14], чихуахуа[15] – глаза разбегались, и мы столько всего нахватали, что мне пришлось вызвать на помощь такси, чтобы довезти до дома всю эту нежность, разложенную по огромным пластиковым пакетам.

В тот же вечер я превратила наш уродливый диван в настоящего Ум-Попотта[16]. Эта гениальная идея принадлежала не мне, а Рафаэлю. Вернее даже Клоду Понти, который, как никто, разбирается в самых мягчайших покровах. В его книгах всегда рано или поздно маленький герой, с которым жизнь обходится сурово, – а ведь я до сих пор на все лады смаковала собственное горе и ни слова не сказала о детях, потерявших такого доброго и веселого папу, каким был мой муж, – находит прибежище в чьей-то

безграничной нежности. Описать это невозможно, надо прочесть эти книги, чтобы понять, во что превратился для Алисы и Рафаэля наш новый диван. В эдакого пузатенького Ум-Попотта, в родителей Упса, в Фульбазара и в маленького Пуфа. Диван перестал быть диваном, он превратился в большого добродушного зверя, который заглатывал детей, когда они возвращались из сада или просто чувствовали себя обездоленными, и бесконечностью ласк закрывал от мира. Ощущение нежности усиливала пара диванных подушек, которые я соорудила, чтобы дети тоже могли потискать зверя в своих объятиях. Как бы ни относились к этому пылевые клещи, но эти несколько метров меха стали самым разумным приобретением за все время нашего восстановительного периода.)

Итак, мы переместились в гостиную, и ты тут же сбросила свои балетки, чтобы свернуться в утробе нашего друга, подтянув ноги под себя и забаррикадировавшись подушками.

Я сидела, как мне нравится, то есть на полу, и смотрела, как Ум-Попотт тебя поймал, и ты умиротворенно улыбнулась, и лицо твое повеселело, как у маленькой девочки после слишком долгого дня в школе.

Мы смотрели друг на друга.

Я предложила тебе ромашкового чая (алкоголики избегают алкоголя) (и именно благодаря этому их легко узнать), ты спросила, нет ли у меня чего-нибудь покрепче (да ладно), нет, а хотя, вот уж кстати, кажется, у меня оставалась где-то бутылка виски. Подумать только, какая удача. Я налила нам полные стаканы (мы в меблирашке, у меня нет стаканов поменьше), и со своими «ромашками» в руках мы откинулись назад, ты – к своему пузатому зверю, я – к своей стене.

Мы пили.

Дети спали, нас убаюкивал смех и голоса ночных гуляк, доносившиеся снизу, свечи рассеивали свет, радио ФИП задавало тон, мы смотрели друг на друга.

Мы ничего друг о друге не знали, кроме того, что мы обе из тех, кто может всплакнуть за стойкой бара зимним утром в Париже.

Мы присматривались друг к другу, оценивали.

Ты потягивала свой виски, я заставляла себя делать так же. Это было непросто. Я была в нокдауне и цеплялась за свой стакан, как за веревки ринга. Ты отклонилась назад, положила подушку себе на живот и спросила:

– Где их отец?

4

Ты слушала меня и молчала, я налила себе еще виски, и ты поняла, ничего мне не сказала, но было видно – ты видела, что свой торфяной напиток я пью как молоко, а потом настал мой черед. Или твой.

– Ну а ты? – спросила я.

– Что я?

– Почему ты здесь?

Уклонилась. Улыбнулась. Вздохнула.

– У тебя много времени?

– Вся ночь, – ответила я, – вся ночь.

5

Ты опустила голову и пробормотала: «Ну что ж, я, меня…»

Я смотрела на тебя и видела, что ты не пытаешься увильнуть, напротив, так и сяк крутишь в голове свой клубок и ищешь достаточно крепкую нить, дернув за которую сможешь его размотать.

У нас впереди была целая ночь, я привыкла ложиться поздно и сидеть вот так вот отрешенно со стаканом в руке. Я никуда не спешила. Я смотрела на тебя, ты по-прежнему казалась мне очень красивой, и мне бы очень хотелось, чтоб любимый мой был сейчас здесь и чтоб он тоже тебя увидел. Мне бы хотелось тебе его представить. Мне бы хотелось вас познакомить. Он так любил красивых женщин с мягким взглядом насмешливых глаз, как у тебя. Конечно, он бы оставил нас вдвоем, но перед уходом обязательно бы нас рассмешил. Больше всего на свете ему нравилось смешить умных женщин. Он говорил, что таким образом приближает нас к людям и вместе с тем благодарит за то, что мы существуем да еще и терпим его рядом с нами. С ним мы хихикали как дурочки, и тем сильнее он нас любил.

От этих мыслей мой взор затуманился, и, увидев, что я тону, ты набралась мужества и бросилась в омут с головой.

– Погоди, – заспешила ты, подняв руку, – не плачь. Сейчас я тебя повеселю.

Слишком поздно – я уже плакала. Как говорили дети, меня достало, что он ушел, меня достало.

– Ты была в интернате? – спросила ты.

– Нет.

– А я была.

Ты выпрямилась и поставила свой стакан. Ты нашла свою нить.

6

– Восемь лет. Пятый, шестой, еще раз шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый класс. Восемь лет – это много. Самый конец детства и весь подростковый возраст. Все свое отрочество я считала дни. Хорошее начало жизни, не правда ли? Я из семьи военных. Наземные войска. 1-й ГПП. Гусарский парашютный полк. Один предок в Вальми, другой в Севастополе, двоюродный дед в Вердене и два родных в Арденнах в мае 40-го. Успешнее не придумаешь. *Omnia si perdas famam servare memento*. «Если ты все потерял, вспомни, что честь осталась». Это их девиз. Каково? Задает обстановку, не правда ли? Меня назвали Матильдой, но моей матери пришлось повоевать, чтобы этого добиться, потому что святая Матильда, видите ли, немка. Спасибо, что наш тогдашний кюре дал свое благословение, иначе была бы я теперь какой-нибудь Терезой или Бернадеттой. Меня отправили в интернат, когда мне исполнилось десять лет. Училась я прилежно, в школу пошла на год раньше, и вот так вот разом в десять лет и в самое пекло. Двое моих братьев, Жорж и Мишель… Всех мужчин в семье так зовут, в честь святых покровителей профессии. Жорж, он же Георгий, это из бронированных, тот, что громит своего дракона в доспехах, а Мишель – заступник парашютистов, который с небес врагов низвергает в ад, и… Э-э-э… Так на чем я остановилась? Ах да, меня отправили в интернат, потому что моих братьев уже туда отправляли и, как мне напомнил отец, чтобы я перестала хныкать, это их не убило. Ладно, о'кей, и что же на это мог ответить маленький новобранец? Смысл в том, что семья военных – это постоянные переезды, а интернат – это благо, потому как это стабильность. Это *стабильность*, понимаешь? Это тебя уравновешивает. Прививает принципы. Структурирует. Тебя запихивают туда, и ты там растешь по шаблону и принимаешь в точности форму этого шаблона, чтобы ничего лишнего, и в итоге получаешься тютелька в тютельку правильного размера и правильного калибра, идеально подходящего под пушечное жерло. Идеальной для брака, чего уж там. Чтобы найти себе красивенького младшего офицера и наделать с ним кучу маленьких парашютистов для Франции. Ладно, я не собираюсь все валить в одну кучу. Это отдельный мир, и, как и везде, там есть дураки и хорошие люди. К тому же, охотно признаюсь, именно там я встретила много очень хороших людей, действительно очень хороших, искренних, красивых. Но, видишь ли, я тут на днях слушала по радио философа Элизабет де

Фонтене, говорили о корриде, и то, что она сказала в осуждение этого обычая, произвело на меня такое сильное впечатление, что я нашла эту передачу в интернете, чтобы записать ее слова. Погоди, я сейчас.

Ты встала, вынула из сумки блокнот и села обратно, на этот раз не подтягивая под себя ноги. Ты зачитала вслух:

– «Аристократическая мораль, военная честь, честь имени… Философия заставила меня порвать со всем этим. Вот так. Поэтому я не могу принять вашу сложную систему этических оправданий, ссылающуюся на ценности, которые я считаю устаревшими. Это не значит, что не надо иметь чести, я стараюсь ее сохранять, но надо понять, что эта модель мужественности, храбрости, превосходства – это модель, отслужившая свое, и она отслужила свое по причине преступлений XX века». Спасибо, Элизабет. Спасибо, милая дама. Тут все сказано. Я варилась в этом все свое детство. Все свое детство я провела в этой модели мира с его устаревшими ценностями. Меня отправили в интернат для моего же блага, и мою мать не сильно взволновал мой отъезд, поскольку ей надо было разбираться с четырьмя младшими, к тому же на подходе был еще один, так что у нее и без меня было чем заняться. Сама она всегда говорила, что у нее остались прекрасные воспоминания от времени, проведенного у монашек, что там она нашла себе подруг на всю жизнь и что… короче, наплевать. Мне все это совершенно не подходило. В первые годы я возвращалась домой на выходные, затем они переехали в По, и я приезжала в семью только на каникулы, а потом они отправились в Новую Каледонию, и тут уже даже на Рождество мне больше ничего не светило. Но тогда, хочу я тебе сказать, тогда было уже слишком поздно. Зло уже совершилось, мне уже не было больно. Зачем я тебе все это рассказываю? Потому что… Кстати, подлей-ка мне еще твоего волшебного зелья… Потому что интернат целиком и полностью сформировал мое отношение к ходу времени. Просто ко времени. Время для меня, я хочу сказать, скоротечное время, то, что в песочных часах, – это враг. Это враг, это скука, это провал. Я пыталась избавиться от этой муки, но… Нет, погоди, я забегаю вперед. Помнишь детскую песенку: «В понедельник утром император с женою и маленьким принцем явились ко мне» и так далее, и понеслось, и как заладят, так и давай надрывать тебе… уши до самого воскресенья, знаешь ее? Я ненавижу эту песенку, у меня истерика начинается, стоит мне ее услышать. Для меня, да я думаю, что для многих, кто прошел через интернат, будучи абсолютно к этому не приспособлен, неделя выглядела примерно так:

в понедельник ты грустишь, но у тебя еще остается при себе немножко накопленного домашнего тепла, так что не страшно, ты держишься на своих запасах, во вторник уже тебе дышится тяжелее потому что… потому что это только начало… Среда[17] – вонючий день, для всех остальных, там, на гражданке, среда – это супердень: занятия только утром, а потом игры, мультики, танцы, конный спорт, подружки, музыка или уж не знаю что там еще. Среда – это классно. Роскошный день. К тому же разбивает неделю пополам. В интернате в среду после обеда пахнет плесенью. Пахнет сыростью. Пахнет грязными носками. Это то, что называется жизнью в сообществе, и это то, что я ненавижу. В среду мы делаем все друг у друга на голове, даже скучаем, особенно скучаем, и это тоскливо до невозможности. Это опустошает. У военных есть такая присказка: «В казарме мы ничего не делаем, но делаем это с раннего утра и все вместе», так вот это именно так. В среду и на выходных, если тебя позабыли в этой камере хранения, ты ничем не занята, но видишь по взгляду твоей соседки, как это самое ничто превращает тебя в вялое, безропотное и неблагодарное существо… Ты здесь, но в этом нет никакого смысла. И в жизни нет никакого смысла. Настоящая жизнь – не здесь. Она идет где-то там, далеко. Мода, музыка, любовные истории, интриги, всякие там «она просит меня сказать тебе, чтоб ты спросил у Н., хочет ли он с ней гулять», смешки, поцелуи, предательства, шопинг, каток, сувениры… Все это – без нас. Прежде всего это несовместимо со взглядами твоих родителей, к тому же ты все равно под замком, так что проблем нет. Ладно, конечно, ради развлечения можно заняться пастырской деятельностью. Если хочешь, можешь делать добрые дела. Можешь петь для стариков, можешь вместе со старыми монашками натирать воском их молельные скамеечки, можешь пойти забавлять больных или – еще лучше, еще веселее – старых умирающих монахинь. Это вообще бинго. Тут уж в «классиках» юных девственниц ты по сумме очков обходишь всех. К Рождеству тебе просто вручают сверток со всякими мелочами. И если добавить к ним чудовищно длинные службы, от которых тебя мутит, и молочные шоколадки, то получишь свой рождественский календарь[18]. Ладно, на чем я остановилась?

– На среде.

– Ах да, спасибо. Короче, среда – это как на «губе» наряд на чистку картошки. Четверг… четверг – это самое плохое… Самый длинный день недели. В четверг, если после отбоя тебя не ждет хорошая книга, то лучше сразу повеситься. Можешь сходить причаститься. В пятницу ты снова

поднимаешь голову. На перемене стоишь неподвижно, высматривая птиц вдали и надеясь увидеть зелень. В пятницу уже чувствуется, что земля где-то близко. В субботу утром ты… Эй, – ты торжествовала, – вижу, ты улыбаешься! Великолепно! Мне нравится, что я заставила тебя улыбнуться. Я рада.

– Так что ты делаешь в субботу утром?

Я улыбалась. Это было в новинку. Это было приятно. Со мной такого давно не случалось. Я улыбалась и плакала теплыми слезами. Наконец улыбнувшись, я смогла наконец расплакаться. Не горькими скупыми слезами, как раньше и даже сегодня утром в кафе, а теплыми, крупными, всласть. Тело отпустило. Твердость улетучилась. Печаль растаяла. Впервые я ревела не в одиночестве. Впервые за год два месяца и пять дней. Из-за того что мой любимый погиб в одиночестве, я запрещала себе оплакивать его на людях. И я ни разу не сломалась, ни перед кем. Не знаю почему. Наверно, из преданности. Чтобы признать его правоту. Чтобы признать свою правоту. Чтобы убедиться в том, что я его поняла и простила. Я имела право клясть его на чем свет стоит, но только наедине. Тогда можно. Когда я была с ним один на один и не слишком трезва, он получал от меня по полной программе, но этой ночью я была с тобой. И ты рассказывала мне такие невозможные, неслыханные, такие экзотические вещи, мне, единственной дочери родителей-интеллектуалов, таких мягких, либеральных, миролюбивых… Да. Для меня все это было экзотикой… Я могла себе позволить реветь перед тобой, мне было нечего опасаться. Мы жили на разных планетах, выросли на разном молоке и молились разным святым, но и ты, и я, мы обе были одинаково циничны. Одинаково сдержанны. Одинаково нежны. А еще ты не знала его, а еще… А еще я ревела.

Слив излишков. Сброс баласта. Спуск плотины. Уволнительная.

Как же это было приятно.

– Эй, – запротестовала ты, – ведь это еще только преамбула. Грустно будет позже. Оставь хоть немного слез на потом, а то ты не сможешь сопереживать мне как следует, и я расстроюсь.

– Ладно, – сказала я, утерев нос рукавом. – Ладно. Итак… Суббота?

– Вот так-то лучше… А то ведь не всем повезло остаться вдовой, черт возьми! Так вот, в субботу утром ты садишься в поезд с большущей сумкой грязного белья и приезжаешь в шумный и оживленный дом, в общем-то достаточно равнодушный к тебе. Не то чтобы тебя там не любили… Ох. Ну

вот, сразу. Громкие слова. Не то чтобы тебя там плохо принимали, но это как со средами: жизнь здесь шла без тебя. Она не ждала тебя и не знает теперь, что с тобой делать. Нет, тебя не забыли, но кто-то – племянница, кузина или жена какого-нибудь полковника – спал в твоей кровати, пока тебя не было, и менять белье сочли излишним, или же в твою комнату сложили какие-то коробки, а на твоем письменном столе стоит швейная машинка, ее собирались убрать, но не хватило времени, так что возьми ее сама и перенеси в комнату твоего брата. Ладно, по правде, все это не страшно, это хуже: просто получается, что у тебя больше нигде на свете нет никакого личного пространства. Не говоря о том, что в субботу после обеда на тебя частенько вешают младшую сестренку или двух братишек, конечно, это преподносится не так, но, в конечном счете, именно это тебя… это тебе и достается. Субботний вечер – это хороший момент. То, чем славятся многодетные семьи: шумные застолья, сердечность, смех, перебранки, примирения, домашняя кухня, пироги, раскладные-раздвижные столы, бесконечно удлиняемые, потому что там, где хватает места на десятерых, хватит и на двенадцать, а если хватает на двенадцать, то и двадцать уместятся. Да, на выходные за столом собиралось человек по двадцать, в среднем. Соседи, соседки, кузены, кузины, друзья, семья, скауты, вожатые, приятели моих братьев, красные береты, зеленые береты, семинаристы, старые девы, нуждающиеся, богомольцы, одинокие, прокаженные и вся прочая братия – ужины у нас всегда проходили с размахом. Как в интернате, только ты уже не в синей форме, еда вкуснее и за столом говорят громче. Но… едва успеешь убрать со стола, как уже воскресенье… Утром – воскресная служба, а после обеда ты уже снова собираешь вещи, размышляя обо всех тех уроках, которые не сделала и которые придется делать в поезде. А потом все сначала. Все то же самое. И так восемь лет. Вот так прошло мое детство, вот так. А когда у меня не стало семейного пристанища, я расширяла круг, еще больше ужимая личное пространство. Я ехала к бабушкам-дедушкам, к дядям, к тетям, к друзьям друзей и так далее. Восемь лет подряд я только и делала, что считала дни, перемещая свою задницу с одной кровати на другую. Восемь лет подряд я мечтала о жизни более стабильной, более приятной, более… Да, более приятной. Более эгоистичной. О жизни для себя. О жизни, которую можно было бы взять в охапку и сказать: «Вот это все мое, здесь мой дом, не входите. А если я вас принимаю, то будьте добры придерживаться моего ритма и больше не спрашивайте меня никогда, какой сегодня день недели». Понимаешь? Ты понимаешь, что я тебе говорю? Понимаешь, что я тебе рассказываю обо всем том дерьме не для того, чтобы поплакаться, да? Я

обо всем этом рассказываю, чтобы ты поняла, насколько я убога.

Молчание.

– Я тебя утомила? – забеспокоилась ты.

– Нет. Вовсе.

– Тогда помоги мне. Потому что я уже не уверена, что хочу продолжать…

– Ты хочешь или не хочешь?

Молчание.

– Хочу. А еще я хочу курить. Нет ли у тебя чего-нибудь погрызть?

– Можешь курить, если хочешь.

– Нет. Я пытаюсь бросить. Вдруг у тебя есть какие-нибудь орехи, которые надо колоть? Или миндаль? Или семечки, или что-то еще, требующее долгой и кропотливой возни?

– Э-э-э… нет. Есть хлопья, если хочешь. Кукурузные с медом или пшеничные с шоколадом.

– Супер. Тащи шоколадные.

– Только без молока! – уточнила ты мне вдогонку, когда я была уже на кухне и размышляла о том, посмею ли вернуться к тебе с новой бутылкой.

Я не посмела.

Ладно. Две пиалы с шоколадными хлопьями без молока. Безалкогольная диета для изувеченных душ Пантеона. Великим дамам благодарная психиатрия.

Я снова уселась напротив тебя, мы молча жевали хлопья, а потом я тебе помогла.

– Давай. Рассказывай, с чего это вдруг ты чувствуешь себя убогой.

7

– Так, так… Почему же я убога? Что ж, посмотрим…

Поскольку продолжения не следовало, я вскипятила воду и поставила чашку травяного чая к твоим ногам, к лапкам Ум-Попотта.

– Спасибо.

Казалось, у тебя слишком много причин чувствовать себя убогой и ты уже не понимала, с чего начать, так что я вытянула для тебя другую ниточку.

– Ты за завтраком вечно с кем-то переписываешься, да?

– Ну вот и все. – Ты мне улыбнулась. – Ну вот и все.

– Ты влюблена?

– Да. Нет. Да. Почему ты улыбаешься?

– Потому что это неплохое начало!

– Скажи… э-э-э… а у тебя нет сигарет, случайно?

– Есть. Я не курю, но сигареты у меня есть. Я нашла их здесь, когда мы сюда переехали, боюсь, они уже не слишком хороши.

– Не страшно. Пойдет.

Я протянула тебе старую пачку пересушенного «Мальборо», лежавшую под чучелом пираньи.

– Великолепно. Спасибо.

– Скажи, ты не против, если я остатки виски вылью себе в чай?

– Прошу тебя. Будь как дома.

– Спасибо.

– О-о-о-о… – После долгой затяжки ты с упоением выдохнула клубы затхлого дыма, пока я меняла один горячий напиток на другой. – Вот видишь, все получается, стоит только захотеть!

Тут уж я рассмеялась. И поняла, что именно сейчас ты становишься мне настоящим другом. Потому что улыбаться – это одно, а вот смеяться… Смеяться – даже само слово было слишком неожиданным в тот период моей жизни. Настолько неожиданным.

– Я тебе скажу… Я убога, потому что я слаба, а слаба, потому что я… не знаю… кроме как «дура», ничего больше в голову не приходит… Эта проклятая юность, все эти годы… гарнизонной, казарменной жизни гребаного караульного, да, все эти пропащие годы, дело не в том, что мне

никак не удается их преодолеть, а в том, что я снова туда погрузилась. И даже, знаешь, теперь еще хуже: теперь я проживаю пустоту этих пропащих лет. Это настолько дерьмовая история, настолько ничтожная, настолько… позорная… Да, именно так – позорная. Только сейчас нашла это слово: позорная. Черт, какое чудовищное открытие… Я все потеряла, и даже чести у меня не осталось. Но как же я смогла до такого докатиться, спрашиваю я себя…

Молчание.

– Вот и я тебя спрашиваю.

Молчание.

– Не знаю. Я плохой солдат.

– Он женат?

– Ох, вот видишь, – скривилась ты, – это не только позорно, но и банально. Это банально, обыденно, пошло. Разгром по всем фронтам. Полный провал. Святому Жоржику со святым Мишелькой наверняка стыдно за своего новобранца, это я тебе говорю… Ну да ладно, зато все сказано: он женат. Что тут еще добавить? Ничего. У тебя не найдется колоды карт или какой-нибудь настольной игры, чтобы спокойно продолжить этот приятный вечер? Нет какой-нибудь «Монополии» или еще чего в том же духе?

– У меня есть «Уно»[19].

– О нет. Это слишком сложно. У меня не получится.

Мы улыбаемся.

– Знаешь, – говорю, – я считаю, что ты очень красивая. То есть нет, это не я так считаю, просто ты *на самом деле* очень красивая. И ты отнюдь не похожа на опороченную женщину. Когда я смотрю, как ты болтаешь с ним по утрам, я вижу женщину, которая любима, – это бросается в глаза.

– Спасибо. Это любезно с твоей стороны. Это мило, и это правда. Ну, то есть я верю, что это правда. И именно это самое ужасное. Пусть чести не осталось, так хоть любовь. Ну, то есть… Не то чтобы много… Так, самая малость. Остатки любви, чего уж там. Лавировка, переписка украдкой, сплошной туман. Раньше я с нетерпением ждала конца недели, а теперь наоборот. Теперь я боюсь выходных. Я их ненавижу. Как будто жизнь замирает, дыхание останавливается. Я умираю и воскресаю каждые пять дней. Это изматывает. Изматывает и к тому же абсолютно бессмысленно. Я говорила тебе: мое настоящее – это негатив в квадрате. Раньше к вечеру пятницы я снова начинала дышать, теперь же с вечера четверга я потихонечку угасаю. А в выходные сплю как можно дольше, чтобы они

прошли побыстрее. Разве это не жестоко? Жестоко. И мерзко. Так и слышу, как Бог смеется и говорит мне: «Ты была нелюбезна с сестрами? И умирающим четки не держала? И соевые шоколадки не доедала? Ну так вот тебе. Получай. Искупай свою вину. Иди поплачь. Днями напролет плачь во дни Господни и остаток дней своих проведи в исповедальне, дочь моя. Это будет тебе уроком».

Я живу не с мужчиной, я живу с телефоном. Вся моя жизнь крутится вокруг этого маленького куска пластмассы. Словно вокруг лампы Аладдина, капризной такой лампы с садистскими наклонностями, которая управляет твоим настроением: ты пристаешь к ней – она исполняет твои желания, ты ее не беспокоишь – она тебя бросает. Лампа Аладдина китайского производства с неким добрым джинном внутри, нет, вовсе не добрым, злым, да и вообще никчемным, с функционером, доступным лишь в рабочее время, для которого под своим собственным именем ты и вовсе не существуешь. «Люблю тебя» – эти мои признания он получает от… даже и не знаю, под каким именем я у него фигурирую в последнее время… это так часто меняется… да и сами эти слова я все равно не пишу, потому что у нас с ним все закодировано. «Люблю тебя» – это «Досье получено», «Думаю о тебе» – «Досье на рассмотрении», «Хочу тебя» – «Срочное досье». Какое убожество, да?

Да, это убого. Я не роман переживаю, а досье сортирую. Вот уж и правда, стоило столько лет учиться…

– Чему ты училась?

– Урбанистике. Высшая государственная школа Парижа, диплом с отличием, и для чего все это? Чтобы выбрать мужчину, с которым мне никогда и ничего не построить? Согласись, я не слишком ловкая девочка…

– Почему ты так категорична? Быть может, он захочет… ну, не знаю… изменить свою жизнь.

– Нет. Ты много знаешь мужчин, которые бы разводились ради любовницы, а? Таких, у которых были бы при этом малолетние дети? Кредит? Машина «Ауди»? Собака? Карликовый кролик? Чувство вины? И частный дом в Ля-Трините? Нет, конечно же нет. Я не слишком ловкая, зато в здравом уме. К тому же он мне никогда ничего не обещал. И с этой точки зрения мне не в чем его упрекнуть. Да я и не упрекаю его ни в чем, я нашла его уже женатым и ввязалась во все это, зная, на что иду. Он никогда мне ничего не обещал, но и никогда ничего не скрывал от меня. Порядочный мальчик, не то слово. Но это не повод, чтобы круто менять свою жизнь, нет, в это я не верю. Уже не верю. Это женщина может пойти на такой риск, мужчина – никогда. Почему? Не знаю. Может быть, потому что у женщин

богаче воображение… Или же они более склонны к игре… Или же потому, что они лучше справляются с жизнью… Я наверняка неправа, говоря подобные банальности, но это именно то, что я вижу вокруг себя. Что мы совершенно не равны перед лицом жизни. Скорее даже перед лицом смерти. Женщина меньше боится смерти. Может быть, именно потому, что она сама дает жизнь? Не знаю. Все, что я говорю, звучит чудовищным клише, но другого объяснения я не вижу. Что бы ни делала женщина, что бы она ни решала, что бы только она ни сломала да ни выбросила, мне кажется, жизнь все равно остается на ее стороне. Словно этакий большой домашний зверь, который всегда держится руки, которая его кормит, пусть даже это самая грубая и неласковая рука. Знаешь, как те старые гвардейцы императора, ворчуны[20], которые шли за ним до самого конца, до пределов зимы и его безрассудства, ни разу ни на мгновение не усомнившись ни в одном из его приказов. «Воспоминания сержанта Бургоня», ты читала? Мне мой крестный подарил эту книгу на пятнадцатилетие. Потрясающе… Да, это несправедливо по отношению к людям, но это так. И мой любимый не такой… хотела сказать «не такой смелый», но это неверно, он по-своему смел, просто не отважнее других, потому что не хочет… не хочет сердить жизнь, настраивать ее против себя, терять ее расположение, лишиться ее и сдохнуть однажды вечером в полном одиночестве. Но самое ужасное заключается в том, что, оставаясь с ним в моем возрасте, я рискую остаться бездетной. Это все-таки печально, разве нет? Хотя я часто это отрицаю, но все же мне бы хотелось. Да, я хочу детей. Иногда я об этом забываю, но когда в прошлом месяце я увидела в кафе твоих, у меня внутри все перевернулось. Кстати, не думаю, что ты заметила, но после этого я несколько дней там не появлялась. Не хотела больше вас видеть, не хотела видеть тебя, меня переполняла зависть. Да, именно: зависть. Желание иметь детей – это та роскошь, которую я не могу себе позволить, если хочу продолжать вставать по утрам. Понимаешь, я чувствую себя убогой, потому что мое настоящее напоминает мне мою юность, мое бессилие и…

Ты замолчала, подняла голову и спросила, глядя мне прямо в глаза:

– Можно, я продолжу?

– Продолжай.

– Мне кажется, я злоупотребляю. Мне кажется, я использую тебя. Растянулась тут на твоем диване и вываливаю тебе на голову свое дерьмо.

– Тебе кажется, что под тобой диван?

– …

– Да ладно, Матильда… ты же видишь, что это не диван. Это брюхо

Ум-Попотта.

– Кого, прости?

– Ум-Попотта, друга невидимого пса. Однажды вечером дети тебя с ним познакомят, вот увидишь…

Мы улыбаемся.

– И потом, ничего ты на меня не вываливаешь, просто рассказываешь. Развязываешь себе руки. Распутываешься. Так куда лучше.

– Спасибо.

– Не за что. Мне от этого легче, пойми. Впервые за несколько месяцев я провожу вечер с кем-то, а не сама с собой наедине, и ты даже не представляешь, насколько я в этом нуждалась. Продолжай. Рассказывай еще, как говорят малыши, рассказывай дальше.

– Не знаю, что еще сказать.

– Как давно вы знакомы?

– Почти четыре года.

– И у тебя нет никакой надежды, что ситуация… э-э-э… изменится?

– Хочешь помочь мне прикончить его жену?

– Нет, – улыбнулась я, – нет. Раньше у меня не было собственного мнения на этот счет, но теперь я точно против смерти. Одно сплошное разочарование и полная бессмыслица, вот что такое эта смерть. Полная бессмыслица, в самом деле. Но…

– Но что?

– Хватит уже о нем, давай лучше о тебе. На него мне наплевать. Я его не люблю. Я не испытываю к нему уважения. Я не хочу, чтобы ты мне о нем говорила. Он меня не интересует. Пошлость заключается не в самой ситуации, а в нем. Не люблю лжецов. Не люблю мужчин, из-за которых женщины несчастны. Не люблю мужчин, которые обманывают своих жен. Внимание: я говорю не о сексе, понятно? Секс – это другая история. Я не против плотских наслаждений и считаю, что фрустрация – это плохо, но здесь речь о другом. Здесь речь идет о четырех годах, а это уже связь. И даже само это слово – «связь» – кажется мне отвратительным. Также как «любовница» – это мерзко. Ты вот тут говорила, что жизнь справедливее к женщинам. Возможно, это и правда, вот только к обществу это не относится. Общество-то – известная дрянь, оно уже давно на все навесило свои ярлыки. Уж сотни лет как. И с одной стороны, тут у тебя любовник Дюрас[21] – молодой китаец, который трахается как бог, а с другой – любовница Барбе Д’Оревильи[22], старуха, отбивающая у тебя все желания напрочь. Вот так вот. Супер. Спасибо, Ронсар, спасибо. Подавись ты этой

своей розой[23]. Любовник – это всегда красиво и даже звучит маняще. Мой любовник, мой прекрасный, возлюбленный из Сен-Жана[24]. Любовник – это всегда сексуально, а вот любовница… Любовница – это такое слово, которое сразу подразумевает проблемы и пахнет нафталином. Любовница – это понятие со сроком годности, которое быстро становится обременительным. Все это так несправедливо… Нет, проблема не в нем, проблема в тебе. Почему ты это допускаешь? Почему ты это поощряешь? И зачем тебе понадобилась такая «преамбула», как ты сама ее назвала, чтобы в итоге привести нас к нему? Это странно. Зачем тебе понадобилось делиться со мной воспоминаниями о твоей интернатской жизни, чтобы затем рассказать мне о… о твоем… о карликовом кролике его ребенка?

– Чтобы провести параллель.

– Ты так считаешь? Но постольку поскольку ты так же ответственна за эту ситуацию, как и он, и даже больше, ведь ты, думается мне, уже пыталась его бросить, нет?

– Сто раз.

– А значит, уже сто раз возвращалась?

– Да.

– Ну так ты видишь, ты сама ведешь эту игру, это твоя игра. И это уже не параллель, это круг. Ты сама сказала, что «снова туда погрузилась», и вот тут-то твоя история становится интересной. Забудь об «Ауди» и домике у моря, это не важно. Ты достойна куда большего. Ты прекрасна как день, ты весела, нежна, чувствительна, умна, можешь отличить Джигглипуфа от Вигглитафа, почти не куришь, ты одна из самых соблазнительных женщин, которых я когда-либо видела, и прекрасно знаешь, что запросто соблазнишь любого, на кого упадет твой взгляд, ну так почему… откуда у тебя эта жизнь «караульного», как ты сама сказала? Наверно, потому, что в конечном счете она тебя устраивает, разве не так? Жизнь караульного полна преимуществ. Не надо думать, не надо проявлять никакой инициативы, просто слушаешься, и все, абсолютно пассивно… Это настолько повторяющийся и ограничивающий сценарий, что в нем нет даже повода для сомнений или печали – здесь я имею в виду Печаль с большой буквы, эдакую экзистенциальную тоску, – и это, конечно, удобно, но с другой стороны, в нем также не остается места ни приключениям, ни знакомствам, ни переменам, ни судьбе, чего уж там… Ни тебе капризов, ни тебе сюрпризов судьбы. Суперудобное убежище. Суперуютное. Караульному не о чем беспокоиться в своей маленькой будке, он ничего не анализирует, не задается вопросами, и чаще всего ему, по большому счету, глубоко

наплевать на то, что он охраняет. Ну да, ему абсолютно по херу. Главное, не отморозить себе все что можно в ожидании смены. В общем, почему бы и нет? Но тогда не говори мне, Матильда, что женщины лучше справляются с жизнью, потому что тут, Матильда, тут ты и вправду всех нас подводишь…

– А ты у нас психолог, что ли?

Твой голос стал агрессивнее.

– Нет, вовсе нет. Просто пытаюсь понять. Если бы ты не начала рассказ со своего детства, думаю, я разговаривала бы с тобой по-другому, ну а так, признай, это все-таки странно, нет? Не то, что эти несколько лет, которые ты провела… на постое, сыграли определяющую роль в твоей судьбе или могли бы сыграть, а то, что тебе понадобилось рассказать мне о них столь подробно. Когда я тебя слушала, у меня сложилось впечатление, что ты сознательно выбрала себе жизнь, напоминающую вечер среды, и мне бы хотелось понять почему. Я не сужу тебя, понимаешь? Я просто хочу понять.

– Хочешь сказать, что это что-то вроде стокгольмского синдрома или же еще какая-нибудь дрянь в том же духе?

– Не знаю, нельзя сравнивать твои интернатские годы со взятием в заложники, но, согласись, такое объяснение звучит заманчиво. Ты говоришь мне, что восемь лет твоей жизни прошли мимо тебя, и теперь, когда ты стала взрослой, свободной и самостоятельной, ты добавляешь до кучи к этому счету еще четыре. Эй, признайся, что тебе нравится считать дни, разве нет? Иначе как это все объяснить?

– …

– Мои слова тебя ранят. Прости. Вижу по твоему лицу, что обидела тебя. Извини меня. У меня нет никакого пра…

– Нет, нет. Твои слова вовсе не ранили меня. Напротив, это как дезинфекция. И то, что ты видишь, это не отчуждение, я сморщилась, потому что щиплется. Это наверняка мне на пользу, но это неприятно.

– Ты уверена, что не хочешь поиграть в «Уно»?

Мы улыбаемся.

– Нет. Я хочу продолжить. Я хочу, чтобы ты продолжила свое исследование этой раны вместе со мной. Ты как?

– Я тебя слушаю.

– Нет, это *я* тебя слушаю.

– Но мне нечего тебе сказать, знаешь…

– Нет, есть. Конечно же есть. Ты должна мне сказать, чтобы я наконец бросила его раз и навсегда.

– Ну уж это мне точно не надо тебе говорить, ты это и без меня

знаешь! Ты сама так все представила. Ты сама нас к этому подвела. Твой рассказ ведь не простая история, это, скорее, план боевых действий. Этот твой телефон, который ты терзаешь, как дура, это отрицание твоей реальности, вся эта нежность, передаваемая контрабандой, все эти истории с классификацией досье, с гнилым фундаментом и с разрешением на строительство, которое ты никогда не получишь, – все это твои собственные слова. Это твое собственное видение ситуации. Твои собственные выводы. Ты ни разу даже не упомянула о чем-либо хорошем, что дает тебе этот мужчина, разве не так?

Молчание. Пощипывание.

– А ведь хорошее есть, – продолжила я мягче, – я знаю, что есть. Я уже говорила тебе, что на тебя приятно смотреть по утрам, когда у вас есть возможность общаться, но так нельзя, Матильда, так нельзя. Это слишком коротко. Слишком скудно. Слишком мелочно. Всем известно, что счастья нет и надо сильно постараться, чтобы быть счастливым вопреки, но тут… Твоя история – это откровенная западня. Четыре года любить мужчину и спустя столько времени по-прежнему быть вынужденной писать ему «Досье получено» вместо «Я тебя люблю», это… Да. Ты права. Это себя не уважать.

Молчание.

Я налила последнюю каплю виски, как слезу смахнула, в твой остывший чай.

– Спасибо, – прошептала ты, опустив голову.

– Ты больше не можешь играть в эту игру, да?

– У меня не получается его бросить. Каждый раз, когда я пыталась это сделать, я буквально каменела от горя. Возможно, жить с ним – это низко, но без него еще хуже.

– Жить? Но разве же это жизнь? Четыре года подполья. Четыре года в укрытии. Четыре года страданий ради мужчины, который без вранья даже не может тебя обнять и обычно довольствуется тем, что время от времени швыряет тебе жалкие крохи своих смсок. Но слушай, подумай о себе: ты ведь не курица, Матильда, ты не курица. Я знаю, что ты страдаешь. Знаю. Но вся гнусность в том, что за четыре года, прожитых в тени женатого мужчины, в твоей жизни было столько фальшивых радостей, фальстартов, псевдовозвращений, лживой близости, разочарований, унижений и горечи, что, переживая все это, ты по ходу дела потеряла из виду саму себя. Ты уже и не помнишь, что достойна в тысячу раз лучшей жизни, нежели та, которой позволяет тебе жить этот мужчина. Прости, вернее: не жить.

– Нет. Не говори так. Это неправда. Он не такой. Ты его не знаешь, но

он лучше, чем ты о нем говоришь. Иначе я бы до такого не дошла.

– Он знает, что ты хочешь ребенка?

– Догадывается.

– И он тебе его не сделает?

– Нет.

– Если бы он действительно тебя любил, он бы сам тебя бросил. Если любишь женщину, которая хочет детей, то либо делаешь ей детей, либо даешь ей свободу.

– *Делаешь ей детей*. Очень по-мужски. Ты говоришь прямо как какой-нибудь дерьмовый прапорщик.

– Я говорю как мать. Пусть это и звучит по-мужски, не спорю. Либо хочешь детей вместе с ней, либо даешь ей свободу.

– А теперь ты говоришь как кюре.

– Я говорю как вдова мужчины, который был на двадцать лет старше, не хотел детей, считал себя слишком старым, чтобы стать отцом, поэтому бросил меня, а спустя год вернулся и встретил меня у выхода с работы с великолепной коляской. С коляской марки «Боннишон», такое и нарочно не придумаешь… Но в течение года он не подавал мне никаких признаков жизни. Ни разу. Ни одного смс, ни одного цветка, ни одного сообщения, ничего. Целый год я была абсолютно свободна.

Молчание.

– Я боюсь его бросить. Боюсь одиночества. Боюсь сожалений, сожалений о том, что сделала. Боюсь, что больше никогда в жизни не буду так сильно влюблена. Боюсь затосковать и уже никогда не оправиться. И что бы я ни говорила, но я уверена, что где-то в глубине души у меня прячется некое мелкое вредное существо, наподобие термита, которое все еще верит, что в конце концов он оставит свою жену даже теперь, когда они только что вместе купили квартиру. На самом деле я остаюсь с ним из ложных побуждений. Я с ним, потому что подчиняюсь этому мелкому вредному существу. Я подчиняюсь худшей своей части. Самой лживой, слабой и трусливой.

– Подчиняться приказам, которые вас бесчестят, – в этом заключается главная драма военного, да? Зачем же навязывать себе подобную дилемму? Зачем? Поступи, как эта великая Элизабет, которую ты тут недавно упоминала: отбрось эти устаревшие ценности. Оставь свой пост. Сложи с себя все эти обязательства. Сними свою униформу и сдай оружие. Сваливай. Не спрашивай разрешения. Ты достойна куда большего, чем эта

жизнь. Знаешь, я никогда бы не посмела разговаривать с тобой в таком тоне, если бы не видела тебя с моими детьми. Если бы не видела, как ты жадно вдыхала запах мягких игрушек, с которыми они спят, как проводила рукой по кудрям Алисы. Зачем же ты рискуешь лишить себя всего этого, а? Зачем? Ради кого? Ради каких таких отношений? Ну а поскольку забеременеть обманным путем от мужчины, с которым живешь, так же низко, как обманывать жену, ты должна наступить себе на горло, если хочешь, чтоб однажды твоя жизнь стала более приятной. У тебя нет выбора. Ты должна по-настоящему вырвать себя оттуда. И вместе с тем, говоря все это, я уже понимаю, насколько все это звучит неубедительно, потому что… Потому что вот я, я его нашла, своего вечного возлюбленного и папу мечты для своих детей, я его нашла. А потом, смотри… в конце концов я все равно воспитываю их одна, так что… Так что уж лучше я помолчу.

Смех. Крики. Шум.
Звон голосов и битого стекла за окном.

– Послушай, – продолжила я, распрямившись, – я скажу тебе свою правду. Я скажу тебе свою правду, которая не твоя правда и уж тем более не сама реальность. Моя правда в том, что я тут тебе говорю громкие слова и я неправа. Я неправа, потому что на самом деле, и это тоже правда, – откуда мне знать. Я никогда ни в чем особенно не разбиралась, а с тех пор, как мой любимый меня покинул, я вообще ни на что не гожусь, так что, правда, ты на ус мотай да мимо ушей пропускай. И в основном все-таки пропускай. Да, не слушай меня, я сейчас совершенно не в том состоянии, чтоб жизни тебя учить. Я не просто вообще ни на что не гожусь, я, пожалуй, в еще более худшем состоянии. Я ошибаюсь по всем пунктам, поверь мне. На меня сейчас ни в чем нельзя положиться, ни в чем. Единственное, что я еще могу добавить, чтобы… э-э-э… чтобы, так сказать, сыграть до конца свою роль анестезиолога, так это то, что, когда я его встретила, то я сама была замужем, ну то есть не то чтобы официально расписана, но совершенно как если бы. Да. Это я была слабым звеном. Он был настолько умен, что, конечно, никогда и ни на чем не настаивал. Он никогда не оказывал на меня ни малейшего давления и никогда не позволил бы себе говорить со мной свысока так, как это только что делала я. Услышь он ту нотацию, что я только что тебе тут прочитала, он был бы в ужасе. В ужасе и разочарован. Он считал меня более деликатной. Он-то сам, чтобы выманить меня из моего столь же уютного, сколь темного угла, долго выслушивал мой

рассказ о моей жизни с бывшим, с моим хахалем, как он любил его называть, растягивая первый слог до появления улыбки на моих щеках, он дал мне действительно выговориться, и я говорила долго-долго, как ты сегодня, а он слушал меня очень внимательно, как я тебя, а в самом конце он…

Я замолчала. Я улыбалась.

– Что же он сделал?

– Он зевнул. Он зевнул, и меня это рассмешило.

– А потом?

– Потом ничего. Потом я бросила мужчину, с которым мне было скучно, ради мужчины, который меня смешил.

– Р-р-р, – проворчала ты, съеживаясь в складках нашей исповедальни, – как бы я хотела с ним познакомиться… Расскажи мне о нем. Расскажи мне о нем еще.

– Нет. В другой раз. В другую ночь. Сейчас надо ложиться спать. Нам завтра в сад.

– Нет. Пожалуйста. Скажи мне еще хоть что-нибудь. Самую малость, хоть что-то красивое для пущей убедительности, для смелости.

– В следующий раз, я тебе обещаю.

Молчание.

– Ты не против, если я посплю тут несколько часов.

– Нет, конечно, нет. Подожди, я принесу тебе одеяло.

Я встала, выбросила последнюю пустую бутылку, поставила наши чашки и пиалы в раковину, принесла одеяло со своей кровати, закрыла ставни, задернула шторы, прибавила отопление и подоткнула тебе одеяло.

Я выключила свет и добавила:

– Если бы я знала, что так сильно его люблю, я бы любила его еще сильней.

Эта малость, эти последние слова, которые я прошептала в темноте, придали ли они тебе смелости?

Не знаю. Утром ты ретировалась, и больше я никогда тебя не видела.

Мой пес умирает

Однажды ему оказалось не по силам самостоятельно забраться в кабину. Он даже пытаться не стал. Просто сел у подножки и ждал, пока я подойду. «Эй, – сказал я ему, – давай-ка пошевеливайся, папаша». Он так на меня посмотрел, что я опустил голову. Я поднял его, и он улегся на своем месте как ни в чем не бывало, но я в тот день заглох, трогаясь с места.

В комнате ожидания, кроме нас, никого. Я держу его крепко, стараясь при этом не сильно сжимать, от этого у меня начинает ныть плечо. Я подхожу к окну, чтобы он мог видеть улицу, и даже тут, даже теперь, вижу, что это его интересует.

Тот еще сплетник…

Подбородком я глажу его по голове и тихо ему говорю:

– Как же я буду теперь без тебя, а? Как же я буду?

Он закрывает глаза.

Перед тем как приехать сюда, я позвонил своему шефу. Сказал, что к выезду опоздаю, но пусть не волнуется, я нагоню. Я всегда справляюсь. Это не впервой, так что он это знает.

– А в чем дело?

– Неприятность у меня, мсье Рико.

– По крайней мере, не с машиной?

– Нет-нет, с моим псом.

– Что он еще натворил, этот барбос? Застрял в собственной миске?

– Да нет, не то чтобы, просто… Мне надо отвезти его к ветеринару, потому что все кончено.

– Что кончено?

– Его жизнь. А они открываются только в девять, ну и еще какое-то время потребуется на все это, так что на склад я опоздаю. Собственно, поэтому я и звоню.

– Ох, черт. Слушай, Жанно, сочувствую. Мы все его любили, этого твоего пса. Что с ним случилось?

– Ничего. С ним ничего не случилось. Просто старость.

– Вот ведь черт. Опять тебе досталось. Сколько ты уже с ним ездишь?

– Да целую вечность.

– А что у тебя на сегодня по графику?

– «Гаронор».

– Чего там? Барахло для «Дере»?

– Да.

– Послушай, Жанно, знаешь что? Возьми отгул, правда. Мы справимся без тебя.

– Не справитесь. Малой в отпуске, а Жерар на переподготовке – права восстанавливает.

– А, ну да… Правда… И все же выкрутимся как-нибудь, давай. Я сам за тебя выйду. Разомнусь немного. Уж тыщу лет как не ездил, а все равно уверен, что руки у меня откуда надо растут и с баранкой справятся!

– Вы уверены?

– Да, конечно, не беспокойся. Бери отгул, говорю тебе.

В сентябре прошлого года, когда перекрывали дороги, и бастовали, и приходилось нелегко, на меня наехали за то, что я не захотел присоединиться к остальным. Спросили, нравится ли мне сосать у шефа. Помню, это Вальдек сказал, и до сих пор я часто вспоминаю эту фразу. Я не захотел ехать с ними. Не захотел, чтобы жена на всю ночь осталась одна, да и, по правде говоря, не верил я в эту затею. Все было кончено. Слишком поздно. Я им говорил, этим своим коллегам, что у старика Рико положение не лучше нашего и что я не собираюсь участвовать в этой их клоунаде у терминалов на платной трассе, пока ребята из транспортных корпораций, из «Жеодис» или «Мори», забирают наших клиентов. К тому же, и я говорю то, что думаю, я всегда с уважением к нему относился, он нормальный мужик. Как владелец он всегда поступал корректно. Даже сегодня, в этой истории с моим псом, которому пришла пора умирать, он повел себя достойно.

Я говорю «мой пес», потому что имени у него не было, иначе, конечно, я говорил бы о нем по-другому. Имени не было, чтобы меньше его любить, но потом это, как всегда, не сработало, и в конце концов я все-таки попался.

Я подобрал его как-то ночью в самый разгар августа, когда возвращался из Орлеана. Это случилось на автодороге N20, на подъезде к Этампу.

Я не хотел жить.

Людовик покинул нас за несколько месяцев до этого, и если я все еще ездил по этой земле, продолжая заниматься перевозкой материалов и запчастей, то лишь потому, что, по моим расчетам, мне надо было вкалывать еще восемь лет, чтобы моя жена смогла получить относительно

приличную пенсию.

В то время моя кабина была моей тюрьмой. Я даже купил себе маленький календарь, в котором дни отрывались один за другим, чтобы добиться ясности в своей голове: восемь лет, твердил я сам себе, восемь лет.

Две тысячи девятьсот двадцать дней, и прощай, работа.

Я больше не слушал радио, никого не подвозил, потерял вкус к болтовне, а когда возвращался домой, то сразу включал телик. Что до жены, так она к тому времени уже спала. Надо сказать, она принимала тогда много пилюль.

Я курил.

Я курил по две пачки «Голуаз» в день и думал о своем умершем сыне.

Я практически перестал спать, оставлял недоеденными свои обеды, выбрасывал еду и… и хотел, чтобы все кончилось. Или же чтобы все началось заново. Чтобы поступить по-другому. Чтобы его мать меньше страдала. Чтобы она наконец оставила в покое эти свои чертовы швабры. Я хотел вернуться в тот момент, когда она еще могла бы от нас уйти. Я так сильно сжимал зубы, что однажды вечером сломал из-за этого зуб.

Доктор, к которому на работе меня заставили пойти, чтобы он прописал мне антидепрессанты (Рико опасался, что я сделаю какую-нибудь глупость в одном из принадлежащих ему грузовиков), сказал мне, когда я одевался:

– Послушайте, я не знаю точно, что именно вас убьет. Не знаю, будет ли это горе, сигареты или же то, как вы питаетесь вот уже несколько месяцев, но с уверенностью могу сказать, что если вы будете продолжать в том же духе, то можете не сомневаться, мсье Монати, можете быть спокойны: долго вы не протянете.

Я тогда ничего ему не ответил. Мне от него нужна была эта справка для Дани, нашей секретарши, так что я дал ему выговориться, а после ушел. Я купил лекарства, которые он мне выписал, чтобы с социальной и медицинской страховкой все было в порядке, а потом выкинул их в помойку.

Я не хотел их принимать, а за жену боялся – боялся, как бы она себя ими не угробила.

В общем, с этим изначально все было понятно. Да и докторов с меня было достаточно. Я их больше видеть не мог.

Дверь открылась. Наша очередь. Я говорю, что приехал, чтобы усыпить свою собаку. Ветеринар спрашивает, хочу ли я при этом

присутствовать. Я отвечаю «да», и он выходит в другую комнату. Возвращается со шприцем, наполненным какой-то розовой жидкостью. Объясняет мне, что животное не будет страдать, что для него это будет, как если бы он заснул, и… Не утруждайся, мил человек, хочу я ему сказать, не утруждайся. Мой сын, он тоже ушел раньше меня, так что, знаешь, не утруждайся.

Если я стал курить как паровоз, то жена моя, она стала безостановочно убираться. С утра до вечера с самого начала недели и до начала следующей у нее только одно в голове и было: уборка.

Это началось, как только мы вернулись с кладбища. У нас собралась родня, ее кузены приехали из Пуату, и, как только они доели, она всех их вышвырнула. Я думал, что она это сделала, чтобы наконец остаться в тишине, но нет: она взяла свой фартук, завернулась в него и завязалась на все завязки.

С того самого дня она с ним больше не расставалась.

Сперва я думал: это нормально, она занимает себя чем-то, чтобы отвлечься. Вот я, я стал меньше говорить, ну а она, она стала суетиться. Каждый как может справляется с горем. Это пройдет.

Но я ошибался. Ничего не прошло.

На сегодня у нас дома пол можно облизывать, если хочется. Пол, стены, коврик у двери, ступеньки и даже унитаз. Ты ничем не рискуешь, все насквозь пропитано хлоркой. Не успеваю я соус с тарелки вытереть, как она ее уже моет, а если мне, не дай бог, случится нож положить на стол, то я вижу, как она с трудом сдерживается, чтобы не сделать мне замечание. Я всегда разуваюсь перед дверью, но даже мои башмаки, я слышу, как она обстукивает их один о другой, стоит только мне отвернуться.

Однажды вечером, когда она, стоя на карачках, все еще терла стыки плиток, я не выдержал:

– Да прекрати же ты наконец, черт возьми! Надин, прекрати! Прекрати немедленно! Ты сводишь меня с ума!

Она посмотрела на меня молча и продолжила тереть.

Я вырвал губку у нее из рук и бросил на другой конец комнаты.

– Прекрати, я сказал.

Мне почти хотелось ее убить.

Она поднялась, подобрала свою губку и снова принялась за работу.

С того дня я стал спать в подвале, а когда привел домой пса, то не дал ей времени возразить:

– Пес будет жить внизу. Он не будет подниматься наверх. Ты не

будешь его видеть. Он будет ездить со мной в грузовике.

Часто, наверно, тысячу раз я хотел ее схватить, сжать в руках, встряхнуть, как куклу, упросить ее остановиться. Умолить ее. Сказать ей, что я здесь, что я есть и что я так же несчастен, как и она. Но это всегда оказывалось невозможным: между нами всякий раз оказывался какой-нибудь пылесос или корзина грязного белья.

Иногда мне не хотелось ложиться спать в одиночестве. Я засиживался допоздна, пил и засыпал перед теликом.

Я ждал, что она придет ко мне.

Но она никогда не приходила. И в конце концов я смирялся. Возвращал на место диванные подушки и спускался к себе в подвал, чуть не ломая шею на лестнице.

Когда все стало таким чистым, что ей уже не удавалось обнаружить ни малейшей пылинки, она пошла и купила себе мойку «Керхер» и принялась чистить стены и внешние детали дома. Сосед по дому предупредил ее, что она рискует повредить штукатурку, но все напрасно – она продолжает.

По воскресеньям она оставляет дом в покое. По воскресеньям она берет свои тряпки и прочие причиндалы и отправляется на кладбище.

Она не всегда была такой. Я в свое время в нее влюбился, потому что она поднимала мне настроение. Мой отец всегда говорил: «Oh Nanni, tua moglie è un usignolo. Твоя женщина, она как маленькая поющая пташка».

И поначалу, когда мы с ней были вместе, уборка не слишком ее волновала. Совсем. Уж поверьте.

Я слишком быстро ехал, когда впервые увидел своего пса. Надо сказать, что камеры тогда были не такие крутые, как теперь. Да и радаров было меньше. Да и плевать мне было на все… Я ехал на «Скании 360». Как сейчас помню, это был один из последних грузовиков, что у нас появились. Было, наверно, где-то в районе двух часов ночи, и я настолько устал, что врубил-таки радио, чтобы не заснуть.

Сначала я увидел только его глаза. Две желтые точки в свете фар. Он перебегал дорогу, и я едва не вылетел в кювет, чтобы на него не наехать.

Я был в ярости. Я разозлился на него, потому что он меня напугал, и на самого себя, потому что ехал как идиот. Во-первых, мне не надо было так гнать, а во-вторых, чудо, что обочина оказалась чиста, не то я бы все снес на своем пути. Гордиться было нечем. Еще несколько сотен метров я продолжал клясть себя на чем свет стоит, ругаясь нехорошими словами, а потом вдруг спросил себя, что он тут делает, этот пес, в два часа ночи на автотрассе в самом разгаре августа.

Еще один, кто не увидит моря…

Горемычных собак я навидался сполна с тех пор, как кручу баранку. Раненых, погибших, привязанных, обезумевших, потерявшихся, хромых и прочих, бегущих за машинами, но я, само собою, никогда не останавливался. Так что? Почему же в тот раз?

Не знаю.

Пока соображал, я был уже далеко. Проехал еще немного в поисках места для разворота, но везде было слишком узко, и тогда я сделал самый свинский поступок за всю свою карьеру: остановил грузовик прямо посреди шоссе. Включил аварийку и пошел искать эту зверюгу.

Не может же смерть побеждать все время.

Впервые с тех пор, как ушел мой сын, у меня появилась какая-то идея. Впервые я принимал какое-то решение, касающееся меня напрямую. Я не слишком в это верил.

Я долго шагал в темноте за ограждением, когда оно было, пробираясь сквозь заросли сорной травы и через все то дерьмо, что люди выкидывают из машин. Пивные банки, пачки от сигарет, полиэтиленовые пакеты и бутылки с мочой моих коллег, слишком ленивых или слишком спешащих для того, чтобы остановиться на пять минут. Я высматривал луну за облаками и слушал крики совы или уж не знаю кого там еще где-то вдалеке. Я был в одной рубашке и уже начал подмерзать. Я говорил себе: если он все еще там, я его возьму, но если я не увижу его с дороги, то и наплевать. Моя бандура, стоящая там с зажженными фарами, – это нехорошо. И когда я дошел до того поворота, который чуть было не обошелся нам слишком дорого, то я его увидел.

Он сидел на краю дороги и смотрел в мою сторону.

– Ну что, – сказал я ему, – ты идешь?

Он дышит с трудом. Видно, что он страдает. Я говорю ему всякие ласковые слова и глажу белую полоску меж его глаз. Еще прежде чем вытащили иглу, я почувствовал, как отяжелела его голова, откинувшаяся на мою руку, и сухой нос воткнулся в ладонь. Ветеринар спрашивает меня, хочу ли я кремировать тело или соглашусь отдать его на переработку. Я отвечаю ему, что я его заберу.

– Осторожно, существуют правила, которые вы должны соблюдать, вы знае…

Я поднял руку. Он не стал продолжать.

С большим трудом я выписал ему чек. Строчки плясали перед глазами,

и я не мог вспомнить, какое сегодня число.

Я завернул пса в свою куртку и положил на подстилку на его обычное место.

Мы с женой хотели еще одного ребенка, чтобы наш малыш рос не один, но у нас не получилось.

Мы старались, мы пробовали шутить над этим, мы ходили в ресторан, выпивали, считали дни, придумывали всякие игры и все такое, но все было впустую, и каждый месяц у нее болел живот, и с каждым месяцем я видел, как она все больше теряет надежду и веру в нас. Ее сестра говорила ей пойти к доктору, чтобы начать лечение, но я был против. Я напоминал ей о том, что она и без меня знала: наш малыш появился на свет сам по себе, без всякого лечения, и ей не стоит портить свое здоровье всякими там гормонами и бесконечными уколами.

Теперь, да еще и на фоне всего, что приходится слышать, со всеми этими ядерными катастрофами, генетически модифицированными организмами, коровьим бешенством и всей той дрянью, что мы едим, я сожалею о том, что тогда говорил, очень сожалею. Она бы не так уж сильно испортила свое здоровье, не сильнее других.

В любом случае, пока мы решались, у Людовика начались первые приступы, и с тех пор мы уже больше не думали о другом ребенке.

С тех пор мы уже не строили никаких планов.

Ему еще и двух лет не было, когда он начал кашлять. Днем, ночью, когда он стоял, сидел за столом, лежал в кроватке, смотрел мультики, он кашлял. Он кашлял и задыхался.

Его мать перестала разговаривать: она караулила. Она только это и делала, как зверь, она вытягивала уши, следила за его дыханием, показывала зубы.

Она таскала своего малыша по врачам. Она брала дни за свой счет. Она ездила в Париж. Она терялась в метро. Она отдавала все свои сбережения таксистам и встречалась с кучей специалистов, которые заставляли ее ждать все дольше и стоили все дороже.

А самое ужасное, что она продолжала перед каждой встречей наряжаться. На тот случай, если она вдруг встретит того, кто спасет ее малыша.

Этому ребенку сильно не хватало школы. Она тоже от этого только теряла. У нее была хорошая работа, ее уважали, и она отлично ладила с коллегами, но в конце концов ее все-таки уволили.

Ей позвонили, и она подписала заявление, чтобы получить приличное

выходное пособие.

Она говорила, что это принесло ей облегчение, но вечером того дня она ничего не ела. Это несправедливо, твердила она, все это слишком несправедливо.

Она искала причины аллергии. Она поменяла ковролин, матрасы, шторы, она запретила ему гладить животных, пить молоко, есть орехи, лишила его мягких игрушек, прогулок в парках, катания на горках, друзей, всего. Всего того, что дети любят больше всего.

Поначалу она только и делала, что допекала его. Допекала, чтобы спасти. Она следила за ним днями напролет, а по ночам слушала его дыхание.

Астма.

Помню, однажды вечером в ванной комнате…

Я чистил зубы, а она снимала макияж.

– Посмотри на все эти морщины, – простонала она, – посмотри на эти седые волосы. С каждым днем я все больше старею. С каждой ночью я старею быстрее, чем все прочие женщины моего возраста. Я устала. Я так сильно устала…

Я ничего ей не ответил из-за зубной пасты. Просто пожал плечами, в смысле не говори глупости. Обычные женские глупости. Ты красива. Однако это было правдой. Она похудела. Ее лицо изменилось. Все в ней стало более резким.

Мы реже занимались любовью и теперь всегда с открытой дверью.

Еду. Сам не знаю, где я похороню своего пса.

Этого брехуна, крысолова, маленького двортерьера. Друга, который так долго поддерживал во мне жизнь и был для меня лучшей компанией. Он любил голос Далиды и боялся грозы, он замечал кролика за сто метров и всегда спал, положив голову мне на колено. Да уж, такой прохвост, я все еще не знаю, где же мне его закопать…

Из-за него я практически бросил курить. Потому что этот подлец тоже начал чихать. Я прекрасно понимаю, что он меня просто дурачил, потому что он даже не дожидался, пока я прикурю, чтобы устроить этот свой цирк, ну ладно, его чихания вызывали во мне слишком плохие воспоминания. Так что я стал курить только на остановках.

И уже не злился из-за закрытых табачных киосков, из-за проблем с парковкой, из-за того, сколько мне все это стоило, из-за сдачи и всего прочего. Я поправился и теперь, скорее, раздражался из-за того, что руки пахли бензином, или из-за запаха рапсовых полей, мимо которых ехал, но в

целом эта история пошла мне на пользу. Принесла мне много всего хорошего. Неожиданно стала доказательством того, что у меня еще оставалась возможность быть хоть немного свободнее, чем я полагал.

Я этого не ожидал.

Благодаря ему я снова стал разговаривать, у меня появились новые знакомые. Я и представить себе не мог, сколько псин у моих коллег. Я узнал новые слова, новые породы, кучу всяких глупостей на особом тарабарском языке, я делился сухим кормом в Памплоне и Гааге. По-приятельски общался с парнями, не понимая ни бельмеса из того, что они мне говорят на языках, определяемых мною по номерам их машин. С этими парнями мы были похожи, ведь они тоже были не так одиноки, как казалось.

У всех остальных была их кабина, груз, график, стресс. У нас тоже все это было, но еще у нас были собаки.

У него тоже появились новые знакомые. У меня даже есть фото одного из его малышей, сидящего в бардачке. Где-то в Молдавии. С тем коллегой мы поклялись, что узнаем друг друга, если однажды где-нибудь вместе выпустим их пописать, но этого никогда так и не случилось. Что ж.

Благодаря ему я познакомился с Бернаром, который потерял сына того же возраста, что и наш. Его ко всему прочему еще и жена после этого бросила. Он дважды пытался свести счеты с жизнью, но потом в итоге заново женился. В общем-то все то же самое, как он говорит, только неприятностей побольше.

Когда ночами мы находим друг друга по радиосвязи, то болтаем. Ну то есть в основном говорит он. Он любит почесать языком. И умеет это делать, перемешивая шутки со всем остальным. К тому же он беарнец, у него красивый акцент. Мы говорим с ним, и потом то, что он мне сказал, еще долго меня бодрит.

Нанарб4.

Друг.

Благодаря моему псу я перестал стискивать зубы и снова полюбил дорогу. Будучи вынужденным останавливаться для выгула, я даже открыл для себя там и сям разные места, в которых неплохо было бы жить.

Благодаря ему, брошенному кем-то и терпеливо дождавшемуся меня в ту первую ночь, не усомнившемуся ни на минуту в том, что я за ним вернусь, а теперь полностью положившемуся на меня, доверившему мне свое благополучие, мне стало лучше. Я не говорю, что я стал счастлив, но мне было лучше.

Это именно то, чего, или же именно тот, кого не хватало моей жене.

Все еду и еду. Я должен найти для него красивое место.

Солнечное. И с видом.

Не знаю, это хорошее или плохое воспоминание… Людовику было, наверно, лет одиннадцать или двенадцать, он был щуплый и бледный, как таблетка аспирина, вечно путался в юбках своей матери, хныкал по малейшему поводу, школу пропускал, от физкультуры был освобожден, только и делал, что листал свои комиксы или играл в видеоигры. В общем, по сути и не пацан, а так…

Как-то раз вечером, который был не таким, как прочие, я сорвался.

Я схватил за руку свою жену и заставил ее повернуться к ее маленькому страдальцу:

– Это невозможно, Надин! Это невозможно, – кричал я. – Он что, так и будет тут сидеть до самой нашей смерти, да? Он должен стать мужчиной, черт возьми! Я не прошу его бежать марафон, но все же! Он же не будет до конца дней своих читать эту чушь и складывать кирпичики на экране телика, черт!

Жена запаниковала, а мальчонка встал и отложил в сторону джойстик.

– Людо, мой мальчик, я говорю это не для того, чтобы тебя достать, но в твоем возрасте надо гулять. Надо злить своих стариков! Собрать себе мопед и заглядываться на девочек! Я не знаю что… но здесь ничто не научит тебя жизни. Это все надо выключить, мальчик мой! Выдернуть из розетки.

– Я смотрю на девчонок, – ответил он мне, улыбаясь.

– Но на них надо не просто смотреть, черт возьми! С ними надо разговаривать!

– Не нервничай, Жан, – умоляла жена, – не стоит так нервничать!

– Я не нервничаю!

– Нет. Ты нервничаешь. И сейчас ты должен немедленно перестать или же доведешь его до приступа.

– До приступа? Да что это еще за глупости? Я что, плююсь шерстью, что ли?

– Прекрати. Это у него от стресса, ты же знаешь…

– Ах, от стресса, вот оно что! Да это ты его превратила в черт знает что, опекая его, как курица! Это ты не даешь ему расти, чтобы и дальше с ним нянчиться!

Его мать расплакалась.

Она легко начинала плакать.

Ночью он кашлял и четыре раза делал себе ингаляцию. Я сплю у

стенки и мог бы ничего не слышать.

На следующий день было воскресенье. Она пришла в мою лачугу:

– В среду он записан к врачу в Некере на плановый осмотр. В этом месяце повезешь его сам. Тогда и спросишь там у доктора Робестье, когда наш сын сможет заняться спортом и торчать по кафешкам, договорились?

– В среду я работаю.

– Нет, – сказала она, – в среду ты не работаешь, потому что ты должен отвезти своего ребенка на осмотр.

Она так на меня посмотрела, что я не стал спорить. К тому же в ту среду я не работал. Было открытие сезона рыбалки, и я знал, что она тоже это знает.

Слушай-ка, там вот совсем неплохо… Вот на том небольшом холме…

Мой пес не был собакой. Он был настоящим консьержем. Всегда сидел прямо, поставив передние лапы ровно на приборную панель, и следил за дорогой. Иногда он начинал брехать, поди узнай почему. Что-нибудь вдали ему не понравится, и он давай тебе наводить там порядок прямо со своего наблюдательного поста.

Как подумаю, сколько же от него было шума…

Люди спрашивали меня: «Это у вас что, антирадарный койот?» – «О да, еще какой, – отвечал я им, – знаменитый. К тому же всегда со мной, как приклеенный». Так что уж на холме, сам понимаешь… Это минимум.

Конечно, я не осмелился там выступать. Слишком сильное впечатление произвели на меня другие дети в зале ожидания, а потом и все эти обследования, которые делали моему Людо. В какой-то момент мне даже хотелось им сказать: «Слушайте, ладно. Довольно уже. Вы же видите, что он больше не может. Вы что, издеваетесь над ним, что ли?» Под конец они поместили его в такую стеклянную кабину и велели дуть в какие-то несуразные трубки сколько сможет. Это для того, чтобы увидеть его дыхание на какой-то кривой в компьютере.

Похожей на кривую с ударами сердца.

Я сидел на табурете и держал его куртку.

Когда медсестра меняла трубки, я посылал ему всякие ободряющие знаки. Это, конечно, было не соревнование, ну да ладно, он все-таки держался молодцом…

Потом он снова делал, что ему говорили, а я смотрел на все эти экраны, пытаясь что-то понять.

Найти во всем этом объяснение того, во что превратилась наша жизнь.

Отчего все эти ночи без сна? Отчего вся эта тревога? Почему мой сын – самый маленький в классе, а его мать уже не любит меня, как прежде? Скажите? Почему? Почему это происходит с нами? Но все эти цифры, разбегающиеся в разные стороны… конечно, я ничего в этом не смыслил.

Я понял, что она говорила с врачом перед нашим визитом, потому что в какой-то момент он повернулся ко мне и сказал с этакой доверительной улыбочкой кюре:

– Ну что ж, мсье Монати… Кажется, вы немного… (он сделал вид, будто подбирает нужное слово) немного расстроены поведением вашего сына в повседневной жизни, не так ли?

Я что-то промямлил.

– Вы считаете, что он слишком мягкотелый?

– Простите?

– Анемичный? Флегматичный? Апатичный?

Мне стало жарко. Я ни бельмеса не понимал из того, что он мне вещал.

– Это его мать с вами говорила, да? Послушайте, доктор, не знаю, что именно она вам сказала, но я, все, чего я хочу, это нормальной жизни для своего ребенка. Нормальной жизни, вы меня понимаете? Я не верю, что это ему на пользу, то, как она вечно его опекает. Я прекрасно понимаю, что у него слабое здоровье, и просто задаюсь вопросом, не поддерживаем ли мы сами его в состоянии слабости, запирая в четырех стенах, как в теплице, если так можно сказать.

– Я понимаю, мсье Монати, я понимаю… Прекрасно понимаю, что вас тревожит, и, к сожалению, мне будет нелегко вас ободрить, однако хочу предложить вам пройти небольшой тест, вам тоже. Вы согласны?

Хуже, чем кюре, настоящий архиепископ.

Людовик смотрел на меня.

– Конечно, – ответил я.

Он попросил меня снять куртку. Встал, пошел поискал ножницы около своих компьютеров, отрезал широкую ленту пластыря и заклеил мне рот. Это мне не понравилось. Хорошо еще, что в тот день у меня не было насморка. Потом он надолго вышел из кабинета, и мы с Людовиком торчали там одни, как дураки.

– М-м-м-м… М-м-м… – мычал я ему, вышагивая как пингвин.

Людо веселился. Когда он вот так вот щурил глаза, я видел его мать. Вылитая Надин в молодости. Та же очаровательная мордашка. Тот же остренький носик.

Доктор вернулся с желтой пластиковой соломинкой. С такой, через

которую дети пьют свои лимонады. Скальпелем он прорезал в пластыре крохотное отверстие и вставил мне в рот соломинку, а потом спросил, могу ли я так дышать. Я кивнул головой.

После этого иголкой от шприца он проткнул соломинку в нескольких местах. Взглянул на меня. Все в порядке, никаких проблем, можете продолжать свою идиотскую игру.

Тогда он зажал мой нос прищепкой, и вот тут уже мне слегка поплохело.

Тут уже я запаниковал.

Он повернулся к моему сыну:

– Как зовут твоего папу?

– Жан. Но все зовут его Жанно.

– Хорошо… – И, повернувшись ко мне: – Вы готовы, Жанно? Вы слышите меня? Само собой разумеется, вам категорически запрещается трогать приспособление, которое я вам соорудил. Я могу на вас положиться, не правда ли?

Я припарковался, открыл багажник, достал лопату и покрепче завернул своего мертвого пса в свою куртку.

Было солнечно, я застегнул молнию, и мы пошли с ним вдвоем.

Следом за доктором мы вышли в коридор, и он попросил нас еще минуточку его подождать. Мы с моим Лулу переглянулись, покачав головой: «Эй, да этот парень, что, доктор Мабуль[25], что ли? Ну то есть Людовик покачал головой, а я – нет. Я не мог. Я только поднял глаза к небу, но даже на это мне потребовалось столько воздуха, сколько я и не подозревал. После я уже стоял не шевелясь.

Робестье вернулся. Он снял свой халат и теперь прыгал передо мной, как мальчишка, пиная старый футбольный мяч.

Он окликнул меня:

– Давай, Жанно, давай же! Дай мне пас!

Ни секунды я не надеялся коснуться этого чертова мяча. Ни секунды.

Я немножко топтался на месте, стараясь как можно меньше наклоняться. Соломинка должна была оставаться строго горизонтально. Я не мог поворачивать голову быстро, не мог двигать ей слева направо или сверху вниз, иначе мне не хватало воздуха.

Однако я пытался.

– Ну что, Жанно? Эй! Что ты там топчешься, старик?

Я его не узнавал. Только что он был такой неприступный за своим

рабочим столом, а теперь он мне тыкает и скачет, как заяц.

– Я же не прошу тебя забить гол, но все же, черт возьми! Сделай хотя бы маленькую передачу!

Не позволяя себе выплюнуть соломинку, страдая от нехватки воздуха, к тому ж еще и разнервничавшись, потому что мне никак не удавалось коснуться этого проклятого мяча, я начинал съезжать с катушек. Я попытался успокоиться, но чувствовал, что сейчас сдохну.

– НЕТ, МСЬЕ МОНАТИ! НЕТ!

Все, что я смог сделать, чтобы не сорвать с себя эту чертову приблуду, вернее, чтоб не потерять лицо в глазах моего мальчика, так это просто упасть на пол, свернуться калачиком и лежать неподвижно, уткнувшись лбом в колени и закрыв голову руками, чтобы защититься от мира.

Лишь бы никто на меня не смотрел. Лишь бы никто со мной не говорил. Лишь бы никто меня не трогал. Лишь бы мне позволили как можно дольше притворяться мертвым, чтобы я смог вернуться к жизни.

Он протянул мне руку и помог встать, пока я освобождался от этой его дряни.

– Видите, Жан, вот что вы только что пережили…

Он указывал мне на аппарат. На маленький светящийся экран, на котором все, что только Людовик смог им надуть, стараясь изо всех сил, проявилось в виде мелких разрозненных каракуль на слишком крупном для них графике.

Я не ожидал, что холм окажется так крут. Опираясь на свою лопату, как на палку, некоторые слова я повторяю себе вслух: *«Ну что, Жанно, дай мне пас! Нет, мсье Монати! Нет!»*

Вечером того дня я зашел в комнату к моему мальчику. Он был в кровати. Читал журнал. Я пододвинул себе стул от его письменного стола.

– Как ты?

– В порядке.

– Что читаешь?

Он показал мне обложку.

– Интересно?

– Да.

– Ладно…

Я видел, что ему не особенно хочется разговаривать. Что он устал и хотел лучше спокойно почитать эту свою штуку о десяти загадках Солнечной системы.

– Ты принял свой вентолин?

– Да.

– Хорошо, ладно… Значит, все в порядке?

– Да.

– Я… Я тебя сейчас достаю, да? Я мешаю тебе читать, да?

Он посмотрел мне в глаза.

– Да, – ответил он, широко улыбнувшись, – ты меня сейчас немного достаешь.

Ох… Когда я об этом думаю… Какой же он был славный, этот мальчик… Такой славный…

Выходя из его комнаты, я не сдержался и спросил:

– Как же ты это делаешь?

– Делаю что?

– Ну, дышишь.

Он положил журнал себе на живот и, подумав, дал мне единственно возможный ответ:

– Я сосредотачиваюсь.

Я пожелал ему спокойной ночи и, уже закрывая дверь, услышал, как он хихикнул:

– Спокойной ночи, Роналду!

От этой маленькой безобидной шутки, всего-то тихонечко рассмеявшись, потешаясь над стариком отцом, он чуть не задохнулся.

Вот, идеальное место. Небольшой уступ, выдающийся на юго-юго-запад. Тут ему будет чем заняться, моему маленькому балаболке…

Я выкопал яму.

Оставил ему свою куртку. Снял обертку с двух кусочков сахара, которые прихватил в кофейне самообслуживания, и положил их ему во внутренний карман.

На дорожку.

Быстро закидал яму землей. Он был некрупный пес.

Сел рядом на землю и как-то разом почувствовал, что остался на этом свете один-одинешенек.

Выкурил сигарету, потом еще и еще одну.

Потом, опираясь на лопату, поднялся.

Все врачи твердили нам, что Людовику нужен хороший воздух. Что он должен продолжать свою учебу где-нибудь в горах, далеко от нас. Нам было сложно на такое решиться. Особенно моей жене.

В конце концов мы записали его в некую школу-санаторий в Пиренеях.

Его приняли без проблем. Надин говорила, что это все благодаря его успеваемости в школе. На мой взгляд, это было связано скорее с его медицинской картой, ну да ладно, не важно, он был рад уехать.

Ему тогда только исполнилось пятнадцать, он пошел в десятый класс, и это был очаровательный парень. Я говорю это не потому, что он был моим сыном, а потому что это правда. Был ли у него просто такой характер или же это болезнь сделала его таким? Понятия не имею, но повторю в последний раз: это был очаровательный парень.

Совсем невысокий для своего возраста, но уже взрослый, настоящий мсье…

Это произошло перед пасхальными каникулами. Мы с нетерпением ждали его приезда. Его мать не находила себе места, а я взял дни за свой счет. Мы собирались свозить его в «Футуроскоп»[26], а потом заехать в гости к его кузенам в Партене. Я был дома, когда раздался телефонный звонок.

Из дирекции лицея нам сообщили, что у нашего сына Монати Людовика на перемене случился приступ, что администрация немедленно вызвала «скорую помощь», но юноша скончался по дороге к ближайшей больнице.

Тяжелее всего было освобождать его комнату там. Надо было забрать все его вещи и сложить их в мусорные мешки: его чистую одежду, его грязную одежду, его игры, его книги, постеры, которые он развесил вокруг своей кровати, его тетради, его тайны и его лекарства.

Надин замкнулась в себе. Единственным, что она потребовала, было не встречаться с директором. Некоторые детали этого, как он говорил, «печального дела» ей никак не удавалось принять.

Пятнадцатилетний парень не умирает вот так вот запросто во дворе на перемене.

Перед интернатом она повернулась ко мне:

– Не крутись у меня под ногами. Подожди в машине. Я предпочитаю быть одна.

Ей больше никогда не пришлось мне этого повторять, однако с того самого дня меня не покидало ощущение того, что я кручусь у нее под ногами.

Машины еле едут. О пробках я не подумал. Не привык ездить в такое время. Не привык чувствовать себя на дороге, словно в западне. Вокруг сигналят, и мне не хватает моего пса.

Завтра я снова сяду в кабину своего грузовика, и там будет его запах.

Мне потребуется время, чтобы отвыкнуть от него.

Сколько времени?

Сколько времени мне потребуется *еще*?

Сколько времени пройдет, прежде чем я перестану смотреть в его сторону, спрашивать его, все ли в порядке, и протягивать руку к пассажирскому сиденью, к месту мертвеца, а?

Сколько времени уйдет на все это?

Я сказал: «Это я» – и пошел на кухню взять себе пива. Я уже собирался спуститься к себе в подвал, когда она меня позвала. Она сидела в гостиной.

На ней не было фартука, а на коленях у нее лежало пальто.

– Я волновалась и позвонила тебе на работу, Рико сказал мне про твою собаку.

– Да?

Я уже развернулся было, когда она добавила:

– Ты не хочешь немного пройтись?

– …

– Давай, пойдем… Надень ботинки и приходи. Я жду тебя.

Мы вышли, я закрыл дом, наступала ночь, мы взяли друг друга за руки.

Хэппи Мил

Я люблю эту девочку. Мне хочется доставить ей удовольствие. Хочется пригласить ее пообедать. В настоящий парижский ресторан с ткаными скатертями и зеркалами. Сидеть с ней рядом, разглядывать ее профиль, смотреть на людей вокруг, и пусть все остывает. Я ее люблю.

– О’кей, – говорит она мне, – но мы пойдем в «Макдоналдс».

Она не ожидала, что это меня напряжет.

– Мы так давно туда не ходили, – добавляет она, откладывая в сторону книгу, – так давно…

Она преувеличивает. Мы были там не больше двух месяцев тому назад, считать я умею. Считать я умею, но иду у нее на поводу. Раз девушка любит наггетсы и соус барбекю, что я могу поделать?

Если мы будем вместе достаточно долго, я научу ее иному.

Я приучу ее к соусу гран-вернер, к помрольским винам и «Креп Сюзетт», например. Если мы будем вместе достаточно долго, я расскажу ей о том, что официанты в настоящих ресторанах не имеют права касаться наших салфеток, поэтому салфетки у них будто выскальзывают из стопок, которые они придерживают отдельной рабочей салфеткой. Она очень удивится. Есть столько всего, что я хотел бы ей показать. Столько разных вещей… Но я ничего не говорю и просто смотрю, как она застегивает свое красивое пальто.

Знаю я, каковы девушки с большим будущим: очень многообещающи. Предпочитаю сводить ее в этот дурацкий фастфуд и изо дня в день делать ее счастливой. «Креп Сюзетт» могут и подождать.

На улице я делаю ей комплимент по поводу ее ботинок. Она возмущается:

– Не говори мне, что впервые их видишь, они у меня с Рождества!

Я что-то бормочу, она улыбается мне в ответ, тогда я делаю ей комплимент по поводу ее носков, и она говорит, что я глупый. А то я не знал.

Как только я открываю дверь, на меня накатывает тошнота. Всякий раз забываю, как сильно я ненавижу «Макдоналдсы». Этот запах… Запах горелого масла, уродства, животной жестокости и вульгарности вперемешку. Почему официантки позволяют себе так ужасно выглядеть? Зачем они напяливают эти безумные козырьки? Почему люди так покорно

выстраиваются в очередь? К чему эта атмосферная музыка? Для какой такой атмосферы? Меня передергивает. Клиенты, стоящие перед нами, дурно воспитаны. Девушки грубые, у молодых людей абсолютно пустой взгляд. У меня и без того не лучшее отношение к людям, мне не надо приходить в такого рода заведения.

Стою прямо, смотрю в одну точку вдали от меня, как можно дальше: там над стойкой вывешены цены на акционное предложение Maxi Best Of и химический состав семейства десертов Very Parfait. Maxi Best Of и Very Parfait. Как можно до такой степени издеваться над словами? Мне грустно. Она это чувствует, она хорошо чувствует такие вещи. Она берет мою руку и тихонько ее сжимает. Она не смотрит на меня. Мне легче. Ее маленький пальчик ласкает мою ладонь, и, кажется, наконец моя линия удачи соединяется с линией моего сердца.

Она несколько раз меняет заказ. Не знает, что выбрать на десерт: молочный коктейль или карамельное мороженое. Она морщит свой симпатичный носик и накручивает на палец прядь волос. Официантка устала, я взволнован. Я беру два наших подноса. Она оборачивается ко мне:

– Наверное, ты хотел бы сесть в глубине?

Я пожимаю плечами.

– Да. Хотел бы. Я знаю.

Она ведет меня за собой. Те, кто сидит на ее пути, со скрипом отодвигают свои стулья. Ей вслед оборачиваются. Она никого не замечает. Неуловимое презрение той, что знает о своей красоте. Она ищет небольшой альков, где нам было бы хорошо вдвоем. Нашла, улыбается мне, я закрываю глаза в знак согласия. Ставлю нашу снедь на стол с плевками кетчупа и следами жира. Она медленно разматывает свой шарф и трижды покачивает головой, прежде чем показать свою грациозную шею. Я так и стою как пень.

– Чего ты ждешь? – спрашивает она.

– Смотрю на тебя.

– Посмотришь на меня потом. Все остынет.

– Ты права.

– Я всегда права.

– Нет, любовь моя. Не всегда.

Скорчила гримаску.

Вытягиваю ноги в проход. Не знаю, с чего начать. Уже хочу поскорее

отсюда уйти. Мне не нравится ни одна из этих завернутых штук. К парню с кольцом, висящим под носом, присоединились еще два крикуна. Убираю ноги, чтобы пропустить эту странную живность.

Какое-то мгновение сомневаюсь. Что я здесь делаю? Со всей своей безмерной любовью и в твидовом пиджаке? Как дурак, по привычке ищу нож и вилку.

Она беспокоится:

– Что-то не так?

– Нет, нет. Все в порядке.

– Тогда ешь!

Я подчиняюсь. Она так изящно открывает свою коробку с наггетсами, словно речь идет о шкатулке с драгоценностями. Я смотрю на ее ногти. Голубоватый лак. Как крылышки стрекозы. Я так говорю, хотя совсем не разбираюсь в цветах лаков, но, оказывается, у нее в волосах тоже прячутся две маленьких стрекозы. Крохотные заколки, едва поддерживающие несколько прядок светлых волос. Я взволнован. Знаю, я повторяюсь, но не могу отказаться от мысли: «Не для меня ли, готовясь к этому обеду, она накрасила ногти сегодня утром?»

Представляю ее в ванной комнате, сосредоточенную и уже размышляющую о своем карамельном мороженом. И обо мне заодно. Ну да. Обо мне. Неизбежно.

Она обмакивает свои кусочки размороженной курицы в пластиковую коробочку с соусом.

Она наслаждается.

– Тебе действительно это нравится?

– Обожаю.

– Но почему?

Победная улыбка.

– Потому что это вкусно!

Она дает мне понять, что я старомоден и скучен, я это вижу по ее глазам. Но по крайней мере свои чувства она выражает нежно.

Лишь бы только эта нежность длилась. Лишь бы только это длилось.

Я составляю ей компанию. Жую и глотаю в ее ритме. Она со мной почти не разговаривает. Я привык. Она никогда со мной не разговаривает, когда я веду ее обедать. Она слишком занята разглядыванием людей за соседними столиками. Люди ее зачаровывают. Даже этот дикарь за столиком сбоку, которой вытирает рот салфеткой и в нее же сморкается, кажется ей привлекательнее, чем я.

Пока она наблюдает за ними, я пользуюсь моментом, чтобы спокойно рассмотреть ее лицо.

Что я люблю в ней больше всего?

На первое место я бы поставил брови. У нее очень красивые брови. Прекрасно прорисованные. Великий Зодчий, очевидно, в тот день был особо воодушевлен. Он, вероятно, пользовался куньей кистью и рука его не дрогнула. Второе место – за мочками ушей. Они идеальны. У нее не проколоты уши. Надеюсь, ей никогда не придет в голову эта несуразная мысль. Я ей воспрепятствую. На третьем – нечто очень деликатное и сложноописуемое. Дело в том, что мне очень нравится ее нос, или, точнее, ее ноздри. Нежные круглые спинки этих двух ракушек. Нежно-розовых, почти белых ракушек, похожих на те, что мы с ней собираем каждое лето с тех пор, как встретились, дети на пляже еще называют их фарфоровыми. На четвертом…

Но вот уже очарование прервалось: она заметила, что я на нее смотрю, и теперь гримасничает, покусывая соломинку. Я отворачиваюсь. Ощупываю карманы в поисках телефона.

– Ты положил его в мою сумку.

– Спасибо.

– Что бы ты без меня делал?

– Ничего.

Я улыбаюсь ей и подхватываю несколько холодных картошек фри.

– Ничего бы я без тебя не делал, – продолжаю я, – и уж точно не должен был бы субботним днем обедать в «Макдоналдсе».

Она меня не слышит. Она приступает к своему мороженому. Кончиком ложечки она сначала собирает осколки арахиса, потом аккуратно проходит каждую бороздку карамели.

После этого она отодвигает от себя поднос.

– Доедать не будешь?

– Нет. На самом деле я это мороженое не люблю. Я люблю только кусочки арахиса и карамель. А от самого мороженого меня тошнит.

– Хочешь, я попрошу их добавить тебе еще?

– Чего?

– Ну, арахиса и карамели…

– Они ни за что не согласятся.

– Почему?

– Потому что я знаю. Они никогда не соглашаются.

– Позволь, я это сделаю.

Я встаю, беру ее стаканчик с мороженым и иду к кассам. Подмигиваю ей. Она смотрит на меня с интересом. Я не слишком в себе уверен. Я отважный рыцарь, которому вплоть до самых враждебных краев надлежит пронести цвета своей принцессы.

Я потихоньку прошу у кассирши новый десерт. Все просто. Я отважный рыцарь, который не вчера родился.

Она снова, как муравей, принимается за свою кропотливую работу. Мне нравится, что она лакомка. Мне нравятся ее манеры.

Столько грации…

Как это возможно?

Я думаю о том, чем мы займемся после. Куда я ее поведу? Что я буду с ней делать? Даст ли она мне руку, когда мы выйдем на улицу? Продолжит ли она свою очаровательную болтовню с того же момента, на котором прервала, войдя сюда? Кстати, о чем она там говорила? Кажется, о пасхальных выходных. Куда мы поедем с ней на Пасху? Бог мой, моя дорогая, но я и сам этого не знаю. Делать тебя счастливой день за днем – это я еще могу попытаться, но спрашивать, чем мы займемся через два месяца, это уже с твоей стороны перебор. В общем, помимо маршрута нашей прогулки, мне надо придумать другую тему для разговора.

Вдохновенный отважный рыцарь, который не вчера родился.

Может, пойти к букинистам… Букинисты – всего лишь предлог, чтобы пройтись вдоль Сены. Она вздохнет. «Опять? *Опять* эти старые книги?» Нет, она не станет вздыхать. Ей тоже нравится делать мне что-то приятное. И руку свою она мне даст, я это прекрасно знаю. Она всегда мне ее давала.

Она складывает свою салфетку, прежде чем вытереть губы. Вставая из-за стола, она разглаживает юбку и подтягивает рукава кофты. Она берет свою сумку и взглядом показывает мне, куда я должен убрать наши подносы.

Я придерживаю ей дверь. Холод застигает нас врасплох. Она снова завязывает шарф и уверенным жестом высвобождает волосы из-под воротника пальто. Оборачивается ко мне и благодарит:

– Это было чудесно.

Это было чудесно.

Мы спускаемся по улице Дофин, ветер свищет, я обхватываю ее за

плечи и прижимаю к себе.

Я люблю эту девочку. Она моя. Ее зовут Адель, и ей нет еще и шести.

Мои ОЖ

Сегодня около десяти утра в моем нагрудном кармане завибрировал телефон. Я почувствовал его жужжание, но решил не обращать на него никакого внимания, поскольку сидел на корточках у стены и изучал рост трещины.

Опираясь одним коленом на свою строительную каску, я пытался понять, почему совершенно новый многоквартирный дом (МКД) никогда не будет заселен.

Страховая компания архитектурного бюро, спроектировавшего этот дом, назначила меня экспертом, и теперь я ждал, пока мой помощник снимет показания датчиков, которые мы установили вдоль этой трещины четыре месяца тому назад.

Не стану здесь вдаваться в детали чересчур технического свойства, но ситуация была напряженная. Наше агентство занималось этим делом уже более двух лет, и на кону были очень большие деньги. Очень большие деньги, а также репутация трех архитекторов, двух геодезистов, одного девелопера, одного специалиста по земляным работам, одного застройщика, одного подрядчика, двух инженеров-консультантов и одного депутата-мэра.

Необходимо было дать определение тому, что на нашем жаргоне стыдливо называется «склонностью к деформации», и в зависимости от того, на какое из этих трех слов: «подвижку», «сползание» или «наклон» (и связанные с ними аспекты) – падет мой выбор в будущем отчете, прояснится наконец не сумма – эта тонкость была не в моей компетенции – но то, на чье имя будет выставлен счет и кому придется его оплачивать.

Другими словами, тем утром я был не один около этого дома, едва достроенного, но от которого уже несло мертвечиной, и мой телефон мог вибрировать сколько ему угодно.

И кстати, он задрожал снова. И еще раз пару минут спустя. В раздражении я полез под куртку. И только я его выключил, как эстафету принял телефон Франсуа, моего помощника. Он звонил довольно долго, раздалось шесть, может быть, семь звонков, потом все повторилось еще раз, но Франсуа висел в люльке в десяти метрах над землей, и упрямец, пытавшийся до него дозвониться, в конце концов повесил трубку.

Я размышлял, вздыхал, проводил рукой по этой проклятой трещине,

уже третьей по счету, появившейся на фасаде с тех пор, как мы начали наше расследование, я ощупывал ее кончиками пальцев, словно человеческую рану. С таким же точно чувством бессилия и в том же бредовом порыве условно христианского толка.

Стена, сомкнись.

Отвратительная ситуация. Я чувствовал, что эта миссия слишком тяжела для меня, для нас с моим партнером, слишком тяжела, слишком сложна, а главное, слишком рискованна. Каково бы ни было содержание моего отчета, и хотя последствия этой истории будут зависеть в конечном итоге от ловкости адвокатов, у которых любые разломы и самые удручающие каркасы и фундаменты всегда находят некое цифровое выражение полюбовно, – я понимал, что сам факт моего заключения по этому делу, нашего заключения, приведет нас к конфронтации с тем или иным сегментом нашей отрасли.

Если оправдают архитекторов, мы потеряем клиентуру девелопера и застройщика, которых признают виновными, а если ответственными сочтут архитекторов, то нам заплатят не раньше, чем через несколько месяцев (а то и лет), к тому же мы потеряем нечто более ценное, чем прибыль, – доверие.

Доверие к архитекторам, доверие к самим себе, а заодно и доверие к собственной профессии. Поскольку, если их вина подтвердится, это станет доказательством того, что они врали нам с самого начала.

Мы долго колебались, прежде чем взяться за это дело, и согласились только потому, что эти люди вызывали у нас уважение. И они сами, и то, что они делали. Мы пошли на это и взяли на себя все риски, связанные с этим решением (нам пришлось вложить деньги в чрезвычайно дорогостоящую аппаратуру), потому что всегда верили в их порядочность.

Так что, если мы в них ошиблись, то этот факт сам по себе станет чудовищной деформацией, уж по крайней мере для меня и для моего партнера.

Между тем так получилось, что именно сегодня утром, причем впервые с начала нашей экспертизы, в мою душу закрались сомнения. Бессмысленно объяснять, почему именно сейчас, так как, повторюсь, не хочу вдаваться в технические детали, но в тот момент я был особенно на взводе. Там было две-три раздражавших меня детали, и вот уже мелкая коварная мыслишка начала подтачивать мой мозг. Вгрызаясь в него, словно *ксилофаг*, в точности как все эти термиты и домовые усачи, которых мы

выслеживаем в ходе наших экспертиз.

Впервые с начала нашего расследования, после стольких часов, проведенных в работе над этим делом, я чувствовал, как эта дрянь начала пожирать меня изнутри: а всю ли правду сказали нам архитекторы?

(Преамбула довольно долгая, но мне она кажется важной, особенно в свете последовавших за этим событий, о которых здесь пойдет речь. Самое важное – фундамент. Этому меня научило мое ремесло.)

Об этом я и размышлял, когда как раз таки один из архитекторов подошел ко мне и протянул свой телефон.

– Ваша жена.

Даже не услышав ее голос, я понял, что это именно она только что пыталась до меня дозвониться, и, даже не услышав еще, в чем дело, я уже предположил худшее.

Невозможно переоценить ошеломительную скорость, с которой крутятся, щелкают, цепляют друг друга и включают сигнал тревоги шестеренки в нашем мозгу. Еще до того, как я произнес эти два простых слога – [а] и [ло], – целая цепочка ментальных образов, один ужаснее другого, успела пройти перед моими глазами, и, беря трубку, я уже был уверен, что стряслось нечто страшное.

Чудовищные доли секунд. Чудовищные потрясения. Трещины, бреши, разломы, пробоины, все что хотите, но в такие моменты сердце надрывается навсегда.

– Из школы, – на одном дыхании выдала она, – из школы Валентина. Они мне звонили. Там проблема. Ты должен туда поехать.

– В чем дело?

– Я не знаю. Они не захотели говорить по телефону. Они хотят, чтобы мы приехали.

– С ним что-то случилось?

– Нет, он что-то натворил.

– Что-то серьезное?

Задавая этот вопрос, я уже чувствовал, как мое сердце забилось вновь. С ребенком ничего не случилось, все остальное – очевидная ерунда. Все остальное тут же перестало для меня существовать, и я вернулся к инспекции стены.

(И только сегодня ночью, написав вот эти вот слова: «…вернулся к инспекции стены», я понял, насколько эта экспертиза свела меня с ума.)

– Конечно, иначе они не стали бы нас вот так вызывать. Пьер, ты должен туда поехать…

– Что, прямо сейчас? Нет. Я не могу. Я на стройке «Пастер» и не могу сейчас отсюда уйти. Мы ждем результа…

– Послушай, – она прервала меня на полуслове, – вот уже два года ты отравляешь нам жизнь с этой стройкой, знаю, что это непросто, и никогда ни в чем тебя не упрекала, но сейчас мне действительно нужна твоя помощь. У меня консультаций выше головы, я не могу отменить прием по предварительной записи, и к тому же тебе там ближе. Ты должен туда поехать.

Ладно. Не стану излагать все данные этой проблемы, опять же чтобы не вдаваться в технические детали, но я достаточно хорошо изучил свою жену и знаю, что когда она говорит таким тоном, надо ответить:

– Хорошо. Еду.

– Держи меня в курсе, ладно?

Она казалась не на шутку обеспокоенной.

Она казалась настолько обеспокоенной, что мне тоже это передалось, и я просто выпалил в воздух, что у моего сына проблемы и что я скоро вернусь. Ощутил, как от присутствовавших на меня повеяло непониманием. Но никто не решился ничего сказать. Ребенок, даже для этих акул, все-таки по-прежнему был хоть чуточку, но ценнее мешка цемента.

Франсуа из своей люльки подал мне знак успокоиться. Знак, говоривший примерно следующее: «Не волнуйся. Я послежу за ними». Великолепный знак в подобных обстоятельствах. Великолепный.

Директриса собственной персоной явилась к воротам в начальную школу имени Виктора Гюго, в которой учились все трое наших сыновей. Она не поприветствовала меня, не улыбнулась, не протянула мне руки. Она лишь сказала: «Следуйте за мной».

Мы были с ней знакомы. Мы всегда обменивались парой слов во время школьных праздников, родительских собраний или классных походов, и я даже бесплатно для нее поработал несколько лет тому назад, когда мэрия расширяла столовую. («Школьный ресторан», как это следует теперь называть.) Все прошло гладко, и я считал, что у нас сложились хорошие отношения.

Пока мы шли мимо этого нового здания, я поинтересовался, все ли тут

в порядке, но она мне не ответила. Может, не расслышала. Вид у нее был недружелюбный, шаг – скорый, кулаки – сжаты.

Ее очевидная враждебность отбросила меня лет на сорок назад. Я внезапно почувствовал себя нашкодившим мальчишкой, безропотно шагающим за директрисой и размышляющим о том, как же именно его накажут и сообщат ли родителям. Очень неприятное ощущение, можете мне поверить.

Очень неприятное и очень странное.

Очень неприятное для меня, так как это было не просто ощущение, но еще и воспоминание: в школе я часто шалил и именно я был тем самым мальчуганом, который, влекомый за ухо, шел через школьный двор как на эшафот, – и очень странное по отношению к моему сыну Валентину, ведь он был тишайшим и добрейшим из детей.

Что же он такого натворил?

Второй раз за это утро я сталкивался с некоей тайной, недоступной для моего понимания. Что было не так заложено в голове моего шестилетнего сына, что его мир, по крайней мере школьный, подавал первые признаки «подвижки», «сползания» или «наклона»?

Я бы ничему не удивился, если бы речь шла о его братьях, но он? Он всегда боготворил своих учительниц, содержал свои тетрадки в идеальном состоянии, вечно делился всеми своими игрушками, а на каникулах, у бабушки и дедушки, предпочитал с утра до вечера бегать вокруг бассейна и спасать тонущих насекомых, вместо того чтобы купаться, и вдруг он наказан?

Подарок, а не ребенок, – я часто его так называю, потому что он такой и есть, в самом прямом смысле этого слова. Наши двое старших были уже большими, Тома́ было восемь, Габриэлю – шесть, и это я в тот год, когда Жюльет, их мама, спросила меня, какой бы подарок мне хотелось получить к Рождеству, ответил: «Малыша». Мы немного не уложились к Рождеству, и поскольку он подоспел лишь к середине февраля, то назвали его Валентином.

Валентин был настоящим чудом.

И как же это мой чудесный малыш, всего-то навсего шести лет от роду, сумел довести директрису своей школы до такого состояния? Вот это-то меня и озадачило не на шутку.

Ее кабинет находился в главном здании на втором этаже. Она вошла

первой и, даже не взглянув в мою сторону, знаком велела следовать за ней.

Я вошел.

– Закройте за собой дверь, – приказала она.

Если бы у меня был под рукой прибор для измерения напряжения, думаю, он бы ударил меня током. Это было не собрание, а электромагнитное поле.

В кабинете находились: хмурый мужчина, едва кивнувший головой в ответ на мое приветствие, женщина, настолько раздраженная, что ей вообще не хватило духу мне ответить, мальчик, сидевший в кресле-каталке, наверное, их сын, который даже глаз не поднял, когда я вошел, поглощенный ковырянием воображаемого пятнышка на своей коленке, а напротив в полном одиночестве у окна стоял мой Валентин.

Он стоял против света и смотрел в пол.

– Валентин сейчас вам объяснит, почему я срочно вызвала вас и родителей Максима, – заявила директриса, обращаясь к моему сыну.

В ответ – тишина.

– Валентин, – повторила она, – имей хотя бы мужество рассказать своему отцу, что ты сделал.

Папа Максима со всей строгостью взирал на моего сына, мама Максима возмущенно покачивала головой, теребя ключи от машины, Максим глядел в окно, а Валентин продолжал смотреть в пол.

– Валентин, – мягко попросил я, – скажи мне, что ты сделал.

Тишина.

– Валентин, посмотри на меня.

Сын послушался, и я увидел перед собой ребенка, которого никогда прежде не видел. Да и это уже был вовсе не ребенок, а стена. Его лицо казалось стеной, куда крепче тех, что занимали мои мысли каких-то полчаса тому назад. Стеной с двумя отверстиями больших светлых глаз. Воплощенный контрфорс.

Конечно, я не подал виду, но внутренне я улыбался. Он выглядел таким славным с этой своей суровостью на детском лице юного солдата, представшего перед военным трибуналом. Нет, он выглядел не просто славным, он был прекрасен.

Красивый, спокойный, бледный… Словно бюст. Из белого мрамора.

– Валентин, – повторила директриса, – не вынуждай меня говорить за тебя, пожалуйста.

Мама Максима всхлипнула, и это меня разозлило. Что тут, в конце

концов, происходит? Их сын жив, насколько я вижу, и в инвалидную коляску он угодил все-таки не по вине моего! Я уже собирался было вмешаться и дать волю своему раздражению, когда мой мальчик решился признаться – как же я ему за это благодарен – и тем самым спас меня от нелепой выходки перед этим собранием полных горя и гнева людей.

– Я проколол колесо кресла Максима… – прошептал он.

– Именно так! – удовлетворенно ответила директриса. – Ты проколол колесо кресла-каталки твоего одноклассника при помощи своего циркуля. Именно это ты и сделал. Ты гордишься своим поступком?

Молчание.

Молчание шестилетнего ребенка, до сих пор всем известного лишь своей добротой, молчание означало согласие, а раз он, таким образом, не отказывался от своего поступка, то надо было по крайней мере провести маленькое расследование.

Обратите внимание, я не говорю, что был уже готов покрывать или прощать провинности моего отпрыска, но моя работа – проводить расследования, дабы определять степень вины той или иной стороны в спорной ситуации, и я настаивал на проведении этой предварительной экспертизы перед тем, как назвать причины аварии.

Я не защищал своего сына, я придерживался буквы закона. И придерживался ее тем более тщательно, что все утро провел в крайне непростых отношениях с правдой.

Вот уже несколько месяцев я подвергался давлению, измывательствам, стрессу со стороны людей, игравших с реальностью в кошки-мышки, и мне для себя самого была жизненно необходима предельная ясность.

– Ты гордишься своим поступком? – повторила она свой вопрос.

Молчание.

Директриса повернулась к родителям Максима, воздев руки к небу, чтобы показать им свое отчаяние.

С облегчением выслушав признание Валентина, ободренные непоколебимой поддержкой Власти, папа Максима выпрямился, а мама убрала ключи.

Напряжение снизилось на несколько тысяч вольт, и чувствовалось, что пришла пора перейти к серьезным вещам, а именно: к наказанию. Какая мера будет достаточно строгой для столь низкого поступка? Ведь все мы тут с вами согласны, дамы и господа присяжные, что ничего ужаснее нападения на бедного беззащитного ребенка-инвалида и быть не может, не правда ли?

Да, я чувствовал, что атмосфера смягчилась, но мне не нравилась эта

мягкость. Мне она не нравилась, потому что слишком быстро заволакивала трещины. Я знал своего сына как облупленного, знал, из чего он сделан и как устроен, он не мог совершить подобный поступок без причины.

– Почему ты это сделал? – спросил я, обратившись к нему с незаметной улыбкой, спрятанной в моих нахмуренных бровях, сердито-но-не-взаправду выпучив глаза.

Молчание.

Я был в замешательстве. Я знал, что мой малыш понял мою гримасу понарошку всерьез разгневанного отца, так почему же он отказывался снимать свою маску злодея? Почему он мне не доверяет?

– Ты не хочешь говорить?

Он отрицательно покачал головой.

– Почему ты не хочешь говорить?

Молчание.

– Он не хочет говорить, потому что ему стыдно! – заявила мама Максима.

– Тебе стыдно? – мягко повторил я, продолжая смотреть ему в глаза.

Молчание.

– Ладно, послушайте… – вздохнула директриса, – не стану вас больше задерживать из-за этой скверной истории. Факты налицо, им нет оправдания. Если Валентин не хочет говорить, тем хуже для него. Он будет наказан, и это даст ему время подумать о своем поведении.

Вздохи облегчения в зале суда.

Я не спускал глаз с моего сына. Я хотел понять.

– Возвращайся в класс, – приказала ему директриса.

Когда он уже направлялся к двери, я задал ему вопрос:

– Валентин, ты не *хочешь* говорить или ты не *можешь*?

Он замер. Молчание.

– Ты не можешь это сказать?

Молчание.

– Ты не можешь говорить, потому что это секрет?

И тут, поскольку он впервые утвердительно качнул головой, от этого движения две крупные слезинки, запутавшиеся в ресницах, выскользнули и покатились по его щекам.

Ох… Я таял от нежности. Как бы мне хотелось сейчас встать перед ним на колени и крепко сжать его в объятиях. Сжать его крепко-прекрепко и шепнуть на ухо: «Это хорошо, мой мальчик, это хорошо. Ты должен хранить секрет и ты его хранишь, несмотря на угрозы. Знаешь, я горжусь тобой. Я не знаю, почему ты это сделал, но знаю, что у тебя были на то

причины, и мне этого достаточно. Я знаю тебя. Я верю в тебя».

Конечно, я даже не пошевелился. Не потому, что боялся потерять расположение директрисы, и не потому, что не хотел ставить сына в неловкое положение, но лишь из уважения к родителям Максима. Из уважения к страданию, никак не связанному с этой дурацкой историей о проколотой шине. Из уважения к этим людям, которым бы тоже так хотелось упасть на колени к ногам своего ребенка и прижать его к груди.

Я даже не пошевелился, но моя профессиональная деформация в очередной раз одержала верх. Именно в этот момент мне стало ясно, что и для них, и для меня, и для Валентина, и для Максима, и для всей этой учебной организации в лице директрисы пришло время приступить к бог знает какому по счету экспертному отчету.

Да, моей обязанностью являлось «определение надлежащих мер по сохранению объекта в целях обеспечения его безопасности и недопущения усугубления деформаций», поэтому я положил руку на плечо моего сына, помешав ему уйти, и, прижав его к себе, развернулся так, что мы оба оказались напротив родителей Максима.

Я посмотрел на них и сказал:

– Послушайте. Я не собираюсь защищать моего сына. То, что он сделал, не слишком умно. И кстати, он поможет мне исправить свою глупую выходку, поскольку у меня в багажнике есть ремкомплект и, пользуясь случаем, я покажу ему, вернее им обоим, – поправился я, кивнув Максиму, – как починить камерное колесо. Это всегда полезно знать, и это может пригодиться им в жизни. Так, с этим разобрались. Эта история с креслом совершенно неинтересна. Зато очень важно другое, и я знаю, что мои слова могут вас шокировать, но я действительно верю, что Валентин сегодня утром хорошо повел себя с вашим сыном. Он хорошо себя повел, потому что для него нет никакой разницы между ними. И знаете почему? Думаю, потому, что он ее не видит. Максим для Валентина вовсе не слабый, не беззащитный. Это мальчишка, такой же, как все остальные, а значит, он должен, как и все, подчиняться суровым законам школьного двора. Со стороны Валентина не было никакой дискриминации, даже позитивной дискриминации, как мы говорим, мы, взрослые, вечно все дискриминирующие. Нет, он общался с ним на равных. По причинам, которых мы не знаем, да нам и незачем их знать, ибо детские тайны священны, Валентину понадобилось проучить вашего сына. Если бы он мог, он бы набросился на него самого, поставил бы ему подножку, ударил бы его по плечу или что-нибудь еще в том же духе, но поскольку он этого сделать не мог, то и накинулся на его кресло. Это честная война. Это

честная война, и я бы даже сказал: это нормально. Наши дети относятся друг к другу как равный к равному, и мы неправы, – тут я повернулся к директрисе, – когда придаем такое значение столь банальному событию. Если бы Валентин подрался с другим мальчишкой во дворе, – спросил я ее, – стали бы вы в экстренном порядке вызывать в школу родителей? Нет. Конечно, нет. Взрослый, который за ними следит, просто разнял бы их, и все. Ну так вот, тут то же самое. Это была простая подножка, ни больше, ни меньше.

И снова повернувшись к родителям Максима:

– …Говорю вам еще раз, я не оправдываю моего сына, я не оправдываю его и также хочу, чтоб он был наказан, но настаиваю на том, что он никак не унизил вашего, напротив, проколов ему колесо, он отнесся к нему с уважением.

Поскольку я спешил вернуться на работу, а они меня раздражали, все это старичье, которое ничего не понимает в детях, так как о собственном детстве уже ничего не помнит, то я не стал дожидаться комментариев к моей тираде и продолжил восстановительные работы.

– Скажите, – обратился я к директрисе, – где мы можем найти тазик с водой, а ты, Валентин, давай-ка потихоньку кати это сдувшееся кресло за мной следом на паркинг.

Пока те и другие качали головами и пыхтели, слегка ошарашенные моей оперативной диагностикой, я подхватил Максима под мышки, чтобы отнести его на мое практическое занятие по изучению природы вещей.

Он был нетяжелый, я поднял его, словно он вообще ничего не весил, и вот тут уже я, да, в этот самый момент именно я оказался ошарашен намного сильнее, чем все остальные взрослые в этой комнате.

У меня аж голова закружилась, чего со мной раньше никогда в жизни не случалось. Я едва на ногах устоял.

Хотя нет, прошу прощения, надо быть внимательнее, «головокружение» здесь не вполне уместное слово. Когда я поднял этого шестилетнего мальчика, то, что я почувствовал, было не приступом головокружения, нет, я почувствовал такое горе, что это вывело меня из равновесия.

Почему вдруг такой резкий сдвиг, когда еще минуту тому назад я твердо стоял на ногах и был совершенно уверен как в себе, так и в своих принципах, да еще и щеки надувал, высокопарно поучая свою немногочисленную аудиторию?

Потому.

Потому что я отец и у меня трое сыновей. И за эти почти пятнадцать лет мне сотни раз доводилось поднимать ребенка и брать его на руки. Бессчетное число раз.

Потому что – и тут все взрослые, кому привычен этот жест, меня поймут – когда берешь ребенка на руки, то самое приятное в этом, самое успокаивающее ощущение защищенности, да, именно защищенности – а уж, бог свидетель, в стратегиях защиты и укрепления несущих стен я разбираюсь, – и для души, и для тела, – это «рефлекс коалы».

Стоит только ребенка приподнять, как он, как и все, полагаю, детеныши млекопитающих, поднимает ноги, чтобы обхватить тебя за талию. Они делают это бессознательно. Они никогда не задумываются об этом. Это рефлекс. Стоит нам только протянуть к ним руки, как тотчас же врожденные навыки заставляют их прижиматься к нам всем телом, распределяя нагрузку, чтобы казаться легче.

Чудесная природа.

Чудесная, но не слишком последовательная, позволяющая одному то, в чем отказывает другому: этот маленький Максим с его мертвыми ногами оказался слишком тяжел для меня.

Я этого никак не ожидал.

Мгновенно перестав быть всезнающим болваном-экспертом, с легкостью анализирующим все подряд, я развел ноги ребенка по обе стороны от своего центра тяжести, поддерживая их снизу, попрощался с директрисой и смиренно предложил его родителям вместе с нами отправиться на паркинг.

Раз уж надо залатать, будем латать все вместе, так веселее.

Оказалось, действительно веселее. Папу Максима звали Арно, а маму – Сандрин. Они не сердились, они просто очень устали.

Поскольку я больше не хотел лишать себя тепла рук их сына – полагаю, это было подсознательным желанием искупить как мое собственное раздражение и недавнюю проповедь, так и факт присутствия на этой земле троих моих здоровых детей, – то Сандрин нашла емкость с водой, а Арно разобрал колесо. Он же взялся показать мальчикам, как найти дырку в камере по поднимающимся в воде пузырькам, как хорошо отшлифовать и обезжирить резину, перед тем как клеить заплатку.

А я все это время служил одновременно подъемным краном,

погрузчиком и люлькой для маленького любознательного мальчика.

Эта роль была по мне. Давно уже я не чувствовал себя настолько полезным на стройке.

Не имея времени, поскольку меня ждали показания моих датчиков, я не смог принять приглашение Арно и Сандрин на чашечку кофе, но мы расстались по-дружески и весьма приободренные, а Максим с Валентином отправились трудиться дальше.

Максим сам крутил колеса своего кресла, а Валентин шагал рядом.

Я чуть было не крикнул ему: «Ну давай же, подтолкни его» – но вовремя спохватился.

Немного логики, мсье эксперт, немного логики.

★

– 183 миллиметра на Г1, 79 на Г2, 51 по Универсальной и 12 по оси, – отрапортовал мне Франсуа, не успел я повесить трубку и убрать телефон (а вместе с ним и все тревоги Жюльет) в карман.

Поскольку я молчал, он добавил:

– Это тебя удивляет?

Дверь багажника его служебной машины была открыта нараспашку, он удобно устроился, сидя на какой-то канистре, и его пальцы бегали по клавиатуре ноутбука, стоящего внутри.

– Это тебя не удивляет? – удивился он, тогда как я снова смотрел на северные фасады резиденции «Вязы».

Этот великолепный жилищный проект из пятидесяти девяти квартир, пустых, но с «отделкой под ключ», как было написано на щите три на четыре метра прямо передо мной – в июле прошлого года.

– Это меня… – прошептал я.

– Что, прости?

Он знаком показал, что плохо меня слышит из-за своей каски.

– Тебе еще долго?

– Я почти закончил.

– Закончишь потом. Пойдем пообедаем. Нам спешить уже некуда.

★

На самом деле я бы даже не пытался выведать секрет Валентина и, вероятно, никогда бы его не узнал, если бы у Лео, лучшего друга нашего Тома́, не было бы младшей сестренки шести лет.

Младшую сестренку звали Амели, и она была весьма болтлива.

Она рассказала старшему брату об «ужасной выходке» Валентина – об ужасной выходке, о которой уже знала вся школа, о которой только и говорили все ученики и все взрослые, которые были там в тот день, и которая, само собой, останется в анналах этого школьного двора на веки вечные. Амели была болтлива, и уже вечером, когда мы все сидели за столом, вот что мы с Жюльет услышали:

Габриэль: Эй, Вава?

Валентин: Чего тебе?

Габриэль: А это правда, что ты сегодня проткнул колесо кресла-каталки твоего одноклассника?

Валентин: Да.

Старшие ржут.

Тома́: Вообразил себя в «Тысяче миль»[27], или что?

Снова ржут.

Габриэль: И чем ты его проколол, кнопкой, что ли?

Валентин: Нет.

Тома́: Гвоздем?

Валентин: Нет.

Габриэль: А чем?

Валентин: Циркулем.

Хохот.

Тома́: Почему? Что он тебе сделал?

(И в этом я увидел детскую мудрость: во-первых, само по себе кресло-каталка не представляет из себя ничего особенного, во-вторых, на школьном дворе никаких гнусностей просто так не бывает.)

Молчание.

Габриэль: Не хочешь говорить?

Молчание.

Тома́: Он тебя обозвал?

Молчание.

Габриэль: Этот дурачок стибрил у тебя твой пенал?

Валентин (в шоке): Никакой он не дурачок. К тому же у него есть все выпуски «Ариоля» и «Кид Пэддла»[28].

Габриэль: Да ну? Так скажи нам, что же он тебе сделал…

Молчание, и наш малыш снова чуть не плачет.

Старшие обожали своего младшего братца. Для них тоже он был настоящим подарком, и видеть его таким несчастным, в таком состоянии, было им невыносимо.

Габриэль: Вава, скажи нам немедленно, что он тебе сделал, не то мы сами у него завтра спросим.

Валентин (который от такой угрозы перекосился весь с головы до ног): Я… я не могу вам… не могу вам это сказать, – зарыдал он, – потому что ма… мама будет меня ругать.

Жюльет (обрадованная и взволнованная) (главным образом взволнованная): Нет, не буду. Скажи. Обещаю, что не стану тебя ругать.

Габриэль (торжествующе): Ну вот! Я знаю! Это нечто, имеющее отношение к карточкам «Покемон»!

Валентин (сокрушенно): Д… д-а-а-а-а-а…

Карточки «Покемон» давно уже стали больной темой у нас дома, потому что Валентин (которого заразили, обучили, посвятили, обратили, увлекли и направляли братья) был от них без ума и уже не раз бывал из-за них наказан. Так что его мать категорически запретила ему брать их с собой в школу, где они, кстати, тоже были категорически запрещены. (Тогда я внезапно понял, почему он так стоически вел себя у директрисы, предпочитая быть наказанным за сделанную подлость, нежели за непослушание.)

Видя столь большое горе и такую моральную стойкость, я позволил себе наконец то, в чем ранее отказал: встал из-за стола и подошел к своему сыну, чтобы его приласкать.

Он сидел у меня на руках, от него пахло мелом, невинностью, усталостью, ромашковым шампунем и детским отчаянием. Он сидел у меня на руках с влажной от слез мордашкой, обхватив и прижав меня к себе своими большими лапами коалы, и с высоты своего отца сквозь всхлипывания признался братьям:

– Он… он меня… он меня обманул… Он мне… поменял… одну суперкар… супер… редкую карточку… на отстойную… убедил меня, что… что это Ле… Легендарный…

– Какую он тебе поменял? – невозмутимо спросил Габриэль.

– Моего Геракросса-EX с 220 ОЖ.

– Ты с ума сошел! – завопил Тома́, – ее ни за что нельзя менять, ты чего!

– Какую он дал тебе взамен? – продолжил Габриэль.

– Вигглитафа.

Тишина.

Двое старших стоят в нокауте. После нескольких секунд оцепенения

Тома́ недоверчиво переспрашивает:

– Вигглитафа? Мелкого паршивого Вигглитафа с 90 ОЖ?!

– Д… д-а-а, – снова зарыдал Валентин.

– Но… Но… – Габриэль задыхался от негодования, – ведь одного взгляда на Вигглитафа достаточно, чтобы понять, что он полный отстой. Он же весь такой розовый и сладенький. Как какая-нибудь мягкая игрушка для девочек.

– Да, но… но он мне сказал, что… что это Легендарный покемон.

Тома́ и Габриэль пребывали в шоке. Выменять Геракросса-EX на Вигглитафа было уже само по себе постыдно, но совершить такое святотатство, еще и убедив в том, что Вигглитаф – Легендарный покемон, – это вообще было худшим и гнуснейшим подонством из всех низостей, когда-либо случавшихся на школьном дворе. Я смотрел на огорошенные лица этих самонадеянных оболтусов, обманутых в своих лучших чувствах, и смеялся от души. Два маленьких мафиози, облапошенные эдаким Джо Пеши шести с половиной лет.

После минуты гробовой тишины, когда были слышны лишь звуки столовых приборов, Тома́ изрек, как в набат ударил:

– Ты слишком мягко с ним поступил, Валентин. Ты слишком добрый. Да ему оба колеса надо было продырявить, этому обманщику…

★

Только что я уложил его спать и, подоткнув одеяло, спросил:

– Скажи-ка, а что значит ОЖ?

– Очки жизни.

– А… Понятно…

– Чем больше у твоего покемона ОЖ, – добавил он, вытащив карточку из-под матраса и показывая мне цифру в правом верхнем углу, – тем он сильнее, понимаешь?

Я понимал, что сейчас не лучший момент, но не смог удержаться и добавил:

– А у тебя осталась карточка Вигглитафа?

Его лицо тут же помрачнело.

– Да, – прошептал он, – но она полный отстой…

– А давай меняться? – предложил я ему, выключая свет.

– О нет… Я не стану с тобой меняться, я тебе ее просто так отдам. Она ничего не стоит. А зачем она тебе?

– Хочу сохранить ее на память.

– На память о чем? – спросил он, зевая.

Валентин заснул, не дождавшись моего ответа, и слава богу, потому что я и сам его не знал.

Что я мог ему сказать?

На память о тебе. На память обо мне. На память о твоих братьях и вашей маме. На память об этом дне.

Когда я знаю ответы, я пишу отчеты.

Я все время пишу отчеты, этим я зарабатываю на жизнь.

Сейчас почти три часа ночи, в доме все спят, один я все еще сижу за кухонным столом – я только что закончил свой первый экспертный отчет без каких бы то ни было выводов.

Я просто хотел запечатлеть на бумаге все, что случилось со мной сегодня.

Мою семью, мою работу, мои заботы, то, что меня все еще удивляет, и то, что уже нет, мою наивность, мои привилегии, мою удачу…

Мой фундамент.

Мои ОЖ.

Пехотинец

Где вы, Луи?
Где вы теперь и что они с вами сделали?
Они вас кремировали? Они вас похоронили? Можно ли к вам прийти?
И если да, то куда? Где это место?
В Париже? В провинции?

Где вы, и как я должен теперь вас себе представлять?
Под гробовой плитой? В могиле? В урне?
Одетым, напомаженным, лежащим и разлагающимся или же пеплом?
Развеянным, рассеянным, разбросанным
потерянным

Луи.
Вы были так прекрасны…

Что они с вами сделали?
Что они с вами сделали и кто они такие, кстати? Кто эти люди, о которых вы никогда не говорили мне?
Была ли у вас семья?
Да. Конечно. Я каждый день хожу по бульвару, носящему вашу фамилию. Забыл, кем вам приходился этот победоносный имперский маршал, но у вас, разумеется, была семья.
Какая?
Кто они? Чего они стоят?
Любили ли вы их? Любили ли они вас? Исполнили ли они ваши последние желания?

Какими были ваши последние желания, Луи?

черт, Луи,
черт возьми
как ты меня достал
Сеул, десять вечера, я ючусь в гостиничном номере на сорок первом этаже башни, только что вылезшей из земли. Думаю, я первый постоялец. Те, кто стелил здесь ковролин, явно забыли взять с собой нож, а стенки

душевой кабины все еще покрыты защитной пленкой.

Я прилетел сюда из Торонто, где у меня шли встречи одна за другой три дня подряд, после двух краткосрочных командировок на места производств, одно из которых находилось в Варшаве, другое – в пригороде Вильнюса. Я набрал столько часов разницы во времени в одну и в другую сторону, что мои биологические часы уже утратили всякий контакт с какой бы то ни было реальностью. Я едва держусь, просто держусь.

Пытаясь отыскать рабочий документ для одного комиссионера из «Тао Танглина», с которым я должен был завтракать завтра утром, я случайно наткнулся в недрах своего компьютера на этот файл, «Без названия 1». Я и не помнил, что написал когда-то такие слова, мне даже сложно было поверить, что это написал я.

Я тогда только что раскрыл ваш подарок. Я чувствовал себя несчастным. Я выпил.

Много.

Луи.

Вот и снова я.

Прошло много месяцев, и я теперь менее груб и более спокоен, но, знаете, я задаю себе все те же вопросы…

Я задаю себе все те же вопросы и все время прихожу к одному и тому же выводу: мне не хватает вас, мой друг.

Мне чудовищно вас не хватает.

Мог ли я себе представить, что мне так сильно будет вас не хватать? Это не просто выражение, я говорю «Мне вас не хватает» вовсе не так, как стал бы жаловаться вам на нехватку сна, солнца, смелости или времени, нет, я говорю это так, словно мне не хватает части самого себя. Возможно, лучшей. Единственной умиротворенной и самой благожелательной. Самой внимательной.

Вы опекаете меня сегодня так же, как опекали два года тому назад.

Два года, Луи, два года.

Разве такое возможно?

Вложить столько жизни в столь малое число дней…

Фантомная часть тела, галлюцинаторный синдром, патолог. *Иллюзорное, иногда болезненное ощущение ампутированной части тела. Боль, провоцируемая стрессом, тревожностью, изменениями погоды.*

Вот что я чувствую, когда думаю о вас. Смешно, не правда ли?

Это смешно. Вы были для меня компасом, стали – барометром.

При малейшей неприятности, при малейшем колебании я ощупываю себя, ищу доказательства вашего отсутствия.

Я беспрестанно вас ищу, Луи. Ваша смерть словно клин, который засадили в мою черепную коробку, и при малейшем сомнении – бабах, удар кувалдой.

Бабах.

В конце концов это расколет меня пополам.

Пишу черт знает что.

Пишу черт знает что из страха сказать черт знает что.

Два года.

Почти два.

Какой короткий срок.

Как это мало, и как же я жалею обо всех этих потерянных годах.

Мы бы могли встретиться гораздо раньше, но мы оба, и вы и я, были столь сдержанны.

Столь сдержанны, столь заняты, столь отстраненны.

Столь перегружены.

В общем, столь глупы.

У меня сейчас тысяча срочных дел, но мне хочется побыть с вами.

Мне хочется с вами поговорить, снова увидеть вас, услышать.

Хочется выправиться.

И момент самый что ни на есть подходящий. Я сейчас, как вам уже говорил, еле-еле душа в теле.

Луи…

Подождите.

Пойду налью себе выпить и вернусь.

Вы были адвокатом, я руководил предприятием – я все еще им руковожу, – мы были соседями по лестничной площадке и иногда сталкивались у дверей лифта или в холле этого роскошного дома в 16-м округе Парижа, где на последнем этаже располагались наши квартиры.

Мы встречались, но лишь едва кивали друг другу, рассеянно и устало, поскольку были ослами, ишаками, рабочими лошадками, и ведь немало потрудились, чтобы такими стать, и каждый, согнувшись под грузом собственной важности, имел глупость тащить в свою частную жизнь огромные папки.

(Я сначала написал «к себе домой», «имел глупость тащить к себе домой», но потом передумал. Был ли у меня дом? Был ли дом у вас? Исправил на «частную жизнь», хотя это выглядит еще более гротескно. Наша частная жизнь. Какая чушь. Почему бы уж тогда не приватность клубов «Расинг» или «Интералье», раз уж на то пошло?)

У нас с вами частной жизни всегда было не больше, чем членских карт каких-либо закрытых клубов, какими бы элитными они ни были. И не то чтобы у нас не было возможности, но, боже мой, у нас никогда не было времени. У нас не было времени. Ни на охоту, ни на гольф, ни на власть, и уж тем более на частную жизнь.

Частная жизнь…

Хорошее название журнала для мойщиц голов в парикмахерских, не правда ли?

Что до семейного очага, в смысле «домохозяйства», то для меня это было термином налогообложения и служило для расчета размера моего подоходного налога, тогда как для вас…

Для вас – не знаю, вы ведь жили один.

Думаю, у вас слово «очаг» вообще скорее ассоциировалось с культурой, в вашей жизни театральные и оперные залы занимали куда большее место. Ряды кресел, фойе, антракты…

Вы часто выходили в город по вечерам и… Нет. Не стану придумывать. Я не знаю.

Вы были так скрытны…

Когда я куда-либо отбывал и вынужден был лететь первым утренним рейсом, мне часто доводилось встречать вас задолго до рассвета. Я вскользь замечал вас, пока мой шофер спешил распахнуть передо мной дверцу нещадно нагретой машины, и эта картинка – вы, такой красивый, бледный, руки в карманах, поднятый воротник, смутное в темноте лицо, до самого носа укутанное шейным платком, – еще долго потом сопровождала меня.

Мои перелеты, часы ожидания, планы сражений, концентрация сил, подбадривание инвесторов, убеждение партнеров, отчаяние – мое, их,

сомнения – мои, их, моя репутация, жесткость, усталость, мои мигрени и боли в животе, пустые комнаты отелей, общение с семьей через автоответчик, постоянная разница во времени, моя походная аптечка, бессонницы… Вся эта жизнь пехотинца капиталистического фронта, жизнь с позиции силы, жизнь-борьба, жизнь-страсть, жизнь, которую я выбрал, за которую бился, которая даже вызывает у меня уважение, да, уважение, хотя она и опустошает меня, причем все сильнее с тех пор, как вас не стало, все это в такие разы заслоняли размышления о вашем элегантном силуэте.

О вашем силуэте. О вас. О вашей свободе.

О том, что я считал свободой.

Одна умная женщина, которой я только что (позже я расскажу вам, при каких обстоятельствах) поведал об этих наших утренних встречах-невстречах, подчеркнув то странное ощущение поддержки, которое они у меня вызывали, иронично подметила:

– Похоже на Поля Морана[29], вопрошающего Пруста…

Я не ответил. Предпочитал показаться снобом, нежели тупицей.

Она не дала себя одурачить. Она посмотрела мне прямо в глаза, долгим взглядом дав мне понять, что я и есть, о да, увы, и долгие эти секунды служили тому доказательством, самый настоящий сноб, причем наихудшего рода: тупица-сноб, а затем, убедившись в том, что я ее понял, она приблизилась к моему лицу и проговорила своим красивым низким голосом:

– *Пруст… И на какой же раут отправляетесь вы ночью, что возвращаетесь с таким усталым и проницательным взглядом? Что за страхи, запретные для нас, познали вы, что возвращаетесь столь снисходительным и добрым?*[30]

Тишина.

Она: Что-то в этом духе, разве нет?

Я: …

Она: Вы ничего не говорите.

Я ничего не говорил, потому что…

Бабах.

Ваша доброта, Луи.

Ваша доброта.

Наступила ночь. Смог и огни большого города оставили этот факт без внимания, но я, столь близкий к вам сейчас, в своем фантомном номере почти в двухстах метрах от земли, вы даже не можете себе представить, как я рад провести этот вечер с вами.

Как раньше.

Уже почти полночь. Перечитал написанное. 1174 слова. Два часа усердий и опустошенный минибар на то, чтобы выдать 1174 слова.

Какой подвиг.

1174 слова, которые к тому же ничего не значат. Ничего не осознают, ничего не выражают, только твердят одно и то же: «Заткнись, Кайе-Понтье, заткнись, иди спать. Ты ходишь вокруг да около, витийствуешь, хорохоришься. Ты не умеешь писать. Ты не умеешь выражать свои мысли. Ты неспособен выразить ни малейшего чувства, неспособен. Ты никогда не умел этого делать. Это тебя не интересует».

Как же все это трудоемко. Трудоемко и претенциозно.

«Клин, который засадили в мою черепную коробку», так почему бы не добавить Пруста, раз уж на то пошло? Давай, давай. Приведи себя в порядок, прошу тебя.

Прими свое снотворное, завали зверя и рухни.

«Клин, который засадили в твою черепную коробку…»

Дорогой мой, ничто не может войти в твою черепную коробку. Ничто. А уж в твою мякоть и того меньше. Вот видишь, даже тут. Даже тут ты говоришь «мякоть», чтобы избежать слова «сердце», настолько оно тебя смущает. Сердце, Кайе, сердце. Ты прекрасно знаешь, это такая требуха, которая трепыхается там, внутри. Такой насос. Мотор.

Выключи компьютер и иди спать. Наберись сил.

Наберись сил, чтобы снова тянуть свои вагоны завтра утром.

Тише, там, наверху, тише. Я выпил, я пью, все наладится. Так надо. Надо, чтобы это вышло. Это как кровопускание. Я должен покончить с вами. Я должен наконец вас похоронить. Закопать или развеять по ветру, не важно, как пожелаете, как бы вы пожелали, но мне действительно необходимо покончить с трауром, которого вы меня лишили, из-за всей

этой вашей сдержанности.

Я должен воскресить вас в последний раз, чтобы наконец с вами попрощаться.

Попрощаться, оставить покоиться с миром и открывать ваш подарок, не воя при этом белугой.

Я уже говорил, что мы оба были крайне сдержанны и, встречаясь в общих помещениях нашего дома, лишь учтиво кивали друг другу, но это не совсем так. Наши ботинки, Луи, наши ботинки были куда мягче, чем мы с вами, и именно они, вы помните, сделали первый шаг.

И вы, и я питали одну преступную слабость: к обуви, так что мы обменивались не только приветствием, но еще и взглядом украдкой. Мы не осматривали друг друга, а просто, склоняя голову, пользовались случаем, чтобы убедиться, что в этом безумном мире есть хоть что-то надежное: дождь на улице, иль снег, иль ветер, но сосед из квартиры напротив все так же носит ботинки, скроенные и сшитые в достойном доме и безупречно начищенные.

Какое утешение, не правда ли? Какое утешение… Утешение, непостижимое для того, кому не ведомо удовольствие, с которым ранним утром пятка скользит по роговому рожку для обуви; удовольствие, которое доставляет идеальная шнуровка, поддерживающая ваш дух, а не только ногу; удовольствие от перфорированного носка, добавляющего толику фантазии костюму, не допускающему никаких вольностей; удовольствие от норвежского шва, создающего у вас впечатление того, что вы не просто элегантны, но и сносу вам нет; от патины, которая скажет о вас и вашем прошлом больше, нежели вы сможете выразить сами, или же от деревянных колодок, которые вы непременно погладите, прежде чем вставить в уставшие ботинки, и которые тотчас разгладят изломы не только мыска, но и прошедшего дня.

И вы, и я всё это знали и были взаимно друг другу признательны за это знание. Наши взгляды украдкой, хоть и были мимолетны, но оттого не менее преисполнены благодарности. Беглый взгляд знатока, *connoisseur only*, узнающего себе подобного по ботинкам на подкладке, как у человека сдержанного, неловко выражающего свои добрые чувства. Незаметная улыбка, скрытая в незаметном кивке, говорящая примерно следующее:

«Спасибо, дорогой единоверец, спасибо. Благословляю вас».

Обыватель в кроссовках наверняка сочтет, что я перебарщиваю, но вы и еще некоторые другие выслушают меня и глазом не моргнув. Красивая обувь, Луи, красивые ботинки, прекрасные дерби, мокасины, монки, безупречные дерби из светлого нубука на красно-кирпичной резиновой подошве, шевро и опоек хромового дубления, колодки из ольхи, муаровый велюр из опойка, поскрипывающий кордован, отполированная кожа, словно покрытая японским лаком, крем-воск с карнаубой… Ох. Боже мой. Как же все это красиво.

Костюм управляющего обязывает, вы встречали меня обутым исключительно в черные оксфорды, бесшовные или с отрезным носком, или же, в крайнем случае, в самом что ни на есть крайнем, к примеру, в пятницу, в пятницу без запланированных осложнений, в полуброги (какое легкомыслие), но вы сами, особенно когда я узнал вас получше, сколько эмоций вы мне подарили. Сколько эмоций. Сколько дискуссий. Сколько оживленных дебатов. Об одной модели в сравнении с другой, об одной ошибке вкуса в сравнении с другой, о венгерском обувщике в сравнении с венским, или же о венском в сравнении с нью-йоркским, о полученной смете, о безумном капризе, об отказе, о сапожнике у черта на куличках, о нежности старой мягкой тряпки или же о длине щетины у полировочной щетки. Сколько часов мы этому посвятили, всем этим экзистенциальным вопросам? Сколько? Мне кажется, мы ни о чем больше никогда и не говорили, только об обуви, о наших чудесных ботинках – начищай, мечтай, носи в ремонт на замену стелек – и за этим занятием мы в значительной степени открыли друг другу душу.

В жизни бывают школьные друзья, факультетские друганы, армейские кореши, приятели с работы, хорошие товарищи, старые друзья, всякие там монтени с ла боэси, а еще бывают такие вот встречи, как наша. Они тем более нежданны, что не основаны ни на чем, ни на каком общем прошлом, и именно из-за отсутствия чего бы то ни было общего позволяют под прикрытием чего-то другого (в нашем случае мужских ботинок) наибольшую открытость.

Ничто не говорится, все понимается.

Или невидимые трофеи тайных дружб.

Но я чересчур тороплюсь, забегаю вперед…

Ведь тут мы с вами еще только в холле или на лестнице украдкой оглядываем ботинки друг друга, тогда как наша первая настоящая встреча произошла на нашей лестничной площадке, и в тот вечер я стоял, вернее покачивался, перед вами в одной рубашке и с босыми ногами.

Это случилось чуть более двух лет тому назад, ближе к концу декабря, когда дни так коротки и нехватка солнечного света, накладываясь на стресс из-за годовых отчетов, аудиторских проверок и семейных праздников, делает нас такими уязвимыми.

Я всегда вкалывал как лошадь, а в то время особенно. Энергетический кризис был в самом разгаре, и я напоминал сам себе эдакого мультипликационного персонажа в духе Текса Эйвери[31], который, выбиваясь из сил, затыкает дыры одну за другой, носится как проклятый от одной катастрофы к другой, в итоге нигде ничего не заделав толком.

Разъезды туда-сюда, бесконечные собрания, ожесточенная игра в наперстки с бездарными банкирами, все это заменяло мне резиновые заплатки, горелку и пробки для латания дыр. Не буду вдаваться в детали, поскольку вам, Луи, это и так известно. Все это вам я уже рассказывал. Я рассказал вам это тогда постфактум, когда буря была уже позади, и вы, никогда и ничего мне не навязывавший, заставили меня пережить ее заново вслух, чтобы *осознать*.

Осознать, что же со мной случилось, осознать, что я потерял, а главное, все также по вашему мнению, осознать, что я выиграл.

(Признаться, я так никогда и не понял, что именно вы под этим подразумевали. Мне кажется, что, за исключением нашей дружбы, я ничего не выиграл в этой истории, ну да ладно, неважно. В таких случаях вы мне всегда отвечали: «Терпение, терпение». Так вот, послушайте, это как раз кстати, вы сегодня уже мертвы, у меня больше нет семьи, и работаю я теперь куда больше, чем прежде, так что действительно терпения у меня более чем достаточно.)

Я должен был лететь в Гамбург, встал очень рано, и Ариана вошла в ванную, когда я брился.

Она села у меня за спиной на краешек ванны.

Она была в светлой ночной рубашке и в моей кофте, не застегнутой, а запахнутой на груди, слишком длинные рукава скрывали ее ладони, и, обхватив себя руками, она слегка покачивалась взад-вперед, с опущенной

головой, с распущенными волосами, отражаясь в зеркале, она показалась мне сумасшедшей. Словно душевнобольная в смирительной рубахе. Но нет, она держалась так, чтобы сохранять самообладание, чтобы, подняв в конце концов голову, быть уверенной в себе, и в ее покачивании не было ничего истерического, совсем напротив: она собиралась с духом.

(Я очень часто вспоминаю об этом своем заблуждении, Луи, мне кажется, что… в этом запотевшем зеркале отразилась вся трагедия моей жизни: я разрушаю людей, которых люблю, считая их слабее себя. Ариана в то утро была далеко не сумасшедшей, просто она молча собиралась с духом, набиралась смелости. Я никогда ничего не понимаю. Это она была всемогущей, именно она.)

Я спросил, не разбудил ли я ее ненароком, она ответила, что всю ночь не сомкнула глаз, а поскольку я никак на это не отреагировал (а слушал ли я ее вообще?), тихо добавила, что уходит, что уходит и забирает с собой дочерей, что она переезжает на квартиру двумя улицами дальше, что я могу с ними видеться, когда пожелаю. «То есть… когда сможешь», – поправилась она с горькой усмешкой, и что в общем-то вот и все, это конец. Что она больше так не может, что меня вечно нет дома, что она встретила кого-то, внимательного мужчину, который заботится о своих детях, у них с его бывшей совместная опека, что она не уверена в том, что влюблена, но хочет попробовать пожить так. Попробовать, не будет ли такая жизнь проще, легче, мягче. Что она приняла это решение не только для себя, но и для дочек. Что здесь жить стало слишком трудно. Что я вечно отсутствую. Даже когда я дома. Особенно когда я дома. Что мой стресс распространяется на всех и что она желает другого детства для Лоры и Люси. Что муж нашей консьержки заберет ее коробки вечером, что она возьмет только свою одежду, одежду дочек, несколько книг, несколько игрушек и ключ от дома в Кальви, который я подарил ей на сорокалетие, что сейчас речь не идет о разводе, что она забирает с собой Мако, нашу няню-домработницу, но та будет сначала наводить порядок здесь, так что я буду жить как в отеле, раз уж мне это так нравится, и каждое утро мои кровать и санузел будут убраны. Что она по-прежнему будет пользоваться нашим общим счетом, но только на детей, что у нее есть свои деньги и она не хочет, чтобы я ее содержал, что она не будет препятствовать моему общению с детьми и что я смогу их брать, когда захочу, и на то время, какое пожелаю, однако на эти каникулы – об этом я, конечно, не ведаю, но начинаются они сегодня вечером, – все уже распланировано: она везет их

на две недели на юг.

Я взял полотенце, промокнул лицо, а когда наконец повернулся к ней, она мне сказала:

– Знаешь, почему я ухожу от тебя, Поль? Я ухожу от тебя, потому что ты даже не порезался. Я ухожу от тебя, потому что ты из тех, кому можно сообщить все это так, что он все равно выйдет сухим из воды и без малейшей царапины.

– …

– Ты чудовище, Поль Кайе-Понтье. Очень любезное, но все-таки чудовище.

Я ничего не ответил. Бритва была старая, и я уже опаздывал.

Я сделал так, чтобы оставаться на телефоне до самого выхода на посадку, но когда понял, что вылет задерживается еще по меньшей мере на пятьдесят минут (из-за плохой видимости), то отключил телефон и погрузился в себя.

Какой-то незнакомец вывел меня из ступора.

– Мсье? С вами все в порядке?

Я извинился, взял себя в руки и улетел в Гамбург.

Мой водитель высадил меня около дома тем же вечером около десяти.

Вход в квартиру был заставлен коробками: «Обувь моя», «Летняя одежда девочек», «Мягкие игрушки Люси», «Белье Арианы». Ладно.

Я снял шарф, пальто, пиджак, галстук, часы, запонки, ботинки, носки, просмотрел почту, налил себе вина, и, когда наполнял себе ванну, раздался звонок домофона. Это был Хулио. Чистильщик.

Конечно, я ему помог. Не то чтобы мне этого особенно хотелось, просто я не мог спокойно смотреть, как этот хороший парень разбирается с нашим грязным бельем, и не предложить ему помощи. Кстати, моя жена вам это подтвердит: я хоть и чудовище, но все-таки любезен. Любезен.

Поскольку мы с Хулио монополизировали лифт, то вы в конце концов решили пойти пешком и не спеша подняться на наш седьмой этаж по лестнице.

Вы запыхались. Вам было уже не двадцать, к тому же вы были нагружены: левой рукой прижимали к себе две толстые папки, а в правой в

плетеной корзинке несли продукты. Из корзинки торчали ветки сельдерея и лук-порей. Я это помню, потому что от вас такого никак не ожидал. Я никогда не мог вас себе вообразить в повседневней домашней жизни. Не знаю почему. Просто я не мог себе представить, что мужчина в монках с пряжками может готовить еду. Это идиотизм, но признаюсь, я вздрогнул, увидев лук-порей.

(В свою защиту скажу лишь, что в ту пору мой рацион был не слишком разнообразен. Только самая простая пища.)

Ну так вот, в этой маразматической ситуации мы и столкнулись с вами лицом к лицу. Я был бос, вы в ботинках «Оберси», мы поприветствовали друг друга с тем же рассеянным видом, что всегда. Вы не бросили ни единого взгляда ни в сторону лифта, ни в сторону моей квартиры, просто проскользнули меж двух коробок и скрылись за дверью собственной квартиры.

Энергичный Хулио быстро все расчистил, и хуже всего то, что я не смог не дать ему чаевых. Я сделал это не задумываясь. Я делаю это инстинктивно. Я всегда благодарю и всегда делаю это деньгами. Отсюда слышу протестующее цыканье ревнителей чувств. Всю свою жизнь я это слышу, всю свою жизнь. Однако знаете, взять хотя бы Хулио, так вот мне кажется, что пятидесятиевровая купюра вкупе с простым «спасибо» доставила ему не меньшее удовольствие, чем «огромная благодарность» вкупе с фигой с маслом. И его моральные качества тут вовсе ни при чем.

Как и мои, кстати.

Всю жизнь меня пытались заставить испытывать чувство стыда из-за того, что я зарабатываю деньги. Из-за того, что я их зарабатываю и пользуюсь ими для упрощения отношений с вещами, равно как и с людьми. Из-за того, что я все хочу купить, особенно знаки внимания. Я никогда не умел защищаться. Нет, правда, не знаю, что и сказать. Я умею делать деньги, как другие умеют их тратить, и я легко их даю, потому что знаю, насколько это удобно, вот и все, тут нет ничего сложного. Из-за стоимости наших ботинок мы не раз касались с вами этой темы (мы ничего всерьез не обсуждали, но касались практически всего), и вы всегда утверждали, что эти добропорядочные люди в конечном счете куда больше, чем я, одержимы деньгами. «Вы выше всяческих подозрений, мой дорогой Поль. Для вас, – настаивали вы, – деньги не имеют никакого значения, потому что вы с ними родились. Эти люди – глупцы. Оставьте это. Оставьте в покое

лакеев. Оставьте», а когда этого не хватало, чтобы утешить меня, столь неверно понятого, то под конец вы всегда разгоняли тучи цитатой из Альфонса Алле[32]: «Не будем принимать себя всерьез, в живых никому не остаться».

(Простите меня, дорогой мой Луи, я пользуюсь этим последним вечером с вами, вот и болтаю больше, чем обычно.) (Возможно, действует высота.)

Хулио все расчистил, как я уже говорил, и я закрыл свою дверь, как вы закрыли свою несколькими минутами ранее.

Дальше рассказывать тяжело. Чтобы назвать вещи своими именами, нужно использовать такие слова, которые мне не поддаются. Меня таким словам не научили. Или же я сам не захотел их знать. Слишком подлые. Слишком продажные. Слишком сомнительные. Слишком податливые, вот. И ведь именно потому, что я был этим… помешанным, заключенным в своей внутренней тюрьме, короче, этим конченым идиотом, именно поэтому я и оказался на этом месте в этот четко определенный момент своей жизни.

Мне было пятьдесят четыре, я руководил предприятием, которое основал мой прапрадедушка, я был единственным сыном, мой отец погиб, управляя собственным самолетом, когда мне было десять, моя мать регентствовала какое-то время, а когда наконец сложила с себя полномочия, с наслаждением погрузилась во тьму Альцгеймера, моя первая жена уехала с нашим сыном в США, вторая с двумя нашими дочерьми ушла к «заботливому» мужчине (расстояние, отныне нас разделявшее, казалось мне еще более ужасным), вода в ванне остыла. Ну вот. Вот и все.

Это все, что я хотел сказать.

Не знаю, сколько времени я пребывал в прострации, глядя на… не помню, было темно, когда раздался стук в дверь.

Я наскоро натянул на себя маску с более или менее приличным выражением, но, должно быть, из-за спешки натянул ее вверх тормашками, поскольку успел заметить, что, увидев меня, на какую-то долю секунды вы – вы растерялись, прежде чем снова овладели собой и, приняв свой обычный невозмутимый вид, сообщили мне:

– Домашний суп. «Миссьон О-Брион»[33] 2009 года. Хамфри Богарт и Одри Хепберн.

А я так и стоял безгласный.

– Садимся за стол через десять минут. Я оставлю дверь открытой. До скорого.

Вы развернулись и ушли.

Ох, спасибо, Луи. Спасибо.

Спасибо, что говорили со мной таким спокойным и не терпящим возражений тоном, что я тут же почувствовал себя маленьким мальчиком, которому велено идти мыть руки.

И как же все разом стало просто.

За стол…

Меня звали за стол.

Я отправился в ванную комнату и для начала сбрызнул лицо холодной водой, и тут… Как же мне претит говорить это. Как же тяжело мне это дается. И тут я… И тут она потекла. Маска потекла. Что-то растаяло у меня в руках. Кто-то… Ладно. Проехали. Сколько воды, сколько воды, как говорится.

Я снял рубашку, потер руки, торс, шею, плечи, пупок, в конце концов выпрямился и… и я его узнал. Я узнал маленького наследника Кайе, который не имел права плакать на людях. Хватит, Поль, достаточно. Вспомни, как тебе повезло в этой жизни.

Я узнал его: под толстой шкурой и жировыми прослойками весь целиком сплошная открытая рана, он глядел на меня из того же зеркала, что несколькими часами ранее наблюдало за тем, как его жена взялась сдирать с него кожу.

Да. Спасибо, Луи. Спасибо, что позволили мне это: разоблачиться наконец.

★

В вашей квартире царил полумрак. Я прошел по коридору на свет свечей, которые вы расставили на маленьком столике в комнате, полностью загроможденной полками, книгами, папками, разрозненными бумагами и стопками старых газет, – комнате, которая, видимо, служила вам гостиной.

Стоявший перед глубоким диваном стол был сервирован на двоих. Красивая скатерть, две глубокие тарелки, стоявшие поверх сервировочных, две серебряные столовые ложки, два бокала, шамбрируемая бутылка вина, кусок сыра на маленькой деревянной доске и хлеб в корзинке.

Откуда-то издалека до меня донесся ваш голос, повелевший садиться, после чего появились вы сами в фартуке с дымящейся супницей в руках.

Большим старинным половником вы щедро налили суп в мою тарелку, посыпали его свежесмолотым перцем и налили мне вина.

Затем вы сняли фартук, устроились на диване рядом со мной, и, удовлетворенно выдохнув, приблизили к носу свой бокал, вдохнули аромат, улыбнулись, взяли пульт, спросили, нужны ли мне субтитры, я отказался, вы согласились, включили «Сабрину»[34] и пожелали мне приятного аппетита.

Так что мы пировали в компании с обворожительной Одри, которая как нельзя кстати как раз возвращалась из лучшей кулинарной школы Парижа.

Восхитительно. Восхитительно.

Скрипичная музыка, романтика, бофор[35] и вино, покончив с которыми вы молча проводили меня до моей квартиры, пожелали «спокойной ночи» и назначили мне встречу на завтра на то же самое время.

Я был в таком состоянии, что едва вас поблагодарил.

Вопреки ожиданиям я хорошо спал в ту ночь. Очень хорошо спал.

(Теперь отсюда я могу вам признаться в этой своей радости одинокого мужчины: я тогда заснул, размышляя о том, какие у вас симпатичные тапочки.) («Шиптон и Хинейдж», «греческие слипперы», как, в свою очередь, признáетесь вы мне несколько недель спустя.)

Спасибо, Луи. Спасибо.

Спасибо.

Я еще не знаю, сколько раз мне придется это повторять, посчитаю в конце. Столько «спасибо», ~~столько горстей земли~~, сколько потребуется.

На следующий вечер был тыквенный крем-суп. И именно в следующий вечер я понял, почему я здесь. После того же ритуала, что накануне, держа пульт в руке, вы повернулись ко мне и спросили с легким беспокойством:

– Я запланировал посмотреть «Квартиру»[36], но боюсь, мне не хватает такта. Быть может, это пока еще слишком рано, нет?

Какая у вас прекрасная улыбка.

– Нет-нет, в самый раз, – восхищенно ответил я вам. – Это то, что надо.

Луи. Никто никогда так обо мне не заботился. Никто.

Догадался ли я вас поблагодарить?

(Один раз, однажды в моей жизни меня вот так же вот кормили, с той же неподдельной строгостью и нежностью, лишь однажды. Эмилия, Яйя, как мы ее звали, маленькая эльзаска, служившая домработницей у моей бабушки в Ля Юшод – чудовищном нивернском доме, где я провел целое лето, предоставленный самому себе после смерти моего отца. Когда я был один в «замке», как она называла наш дом, она разрешала мне ужинать с ней на кухне и готовила для меня сладкие гренки из черствого хлеба, макая в неведомую мне смесь с молоком, сахаром и корицей сухие ломти от большой буханки грубого помола.

Я никогда не забуду вкус этих гренок. Никогда. Это был вкус доброты, простоты и бескорыстия. Эти яства мне с тех пор подавали нечасто.

Яйя… Яйя, запрещавшая мне разговаривать во время своей любимой радиопередачи, Яйя, которой я сто раз зачитывал тот пассаж из романа Жюля Верна, в котором Михаил Строгов приговорен «никогда больше не видеть вещи земные» и ослеплен раскаленной добела саблей. Я старательно подчеркивал голосом рычащие «р» злого Огарева, чтобы его голос звучал еще более сур-р-р-р-р-рово и стр-р-р-р-р-рашно. Она это обожала. Несколько месяцев спустя я совершенно случайно узнал, что ее уволили, и когда наконец решился спросить у бабушки (а мне потребовалось на это не меньше отваги, чем доблестному посланцу царя) почему, то она просто ответила, что от Яйи «не всегда хорошо пахло».)

(Луи? Я злоупотребляю? Злоупотребляю вашей вечностью со своим детским нытьем? А если и так, то вы сами в этом виноваты, мой друг, ведь я уже и думать забыл, что все еще помню Яйю, и если бы не вы, то, возможно, никогда бы о ней и не вспомнил.)

Этот ритуал – супы, хорошие вина и голливудская классика – длился вплоть до наступления Нового года. Ежевечерне вы назначали мне встречу на завтра, и каждый вечер я с несказанным облегчением возвращался на эти наши посиделки старых холостяков. (*Несказанный*, прил. *Что не может быть сказано или выражено словами из-за своей интенсивности, странности, необычности*.)

Ни вы, ни я ни разу не заикнулись ни о Рождестве, ни о Новом годе.

Поскольку вы столь любезно изо дня в день возобновляли ваше приглашение, а я был не в состоянии отказываться, то мы с вами жили, как

будто ничего и не было. Вернее, ничего и не было, а я все-таки жил. Мой сын, как и было запланировано, отправился кататься на лыжах со своей матерью и своим лихим отчимом куда-то в Колорадо, тогда как Ариана с дочерьми нежились в купальниках где-то за коралловым рифом (я не стал выяснять, поехал ли с ними заботливый мужчина – решил, что это внешнее безразличие будет приятным подарком самому себе), так что вы, сами того не ведая, стали для меня семьей, а дом ваш – единственным моим прибежищем.

Что до вас, то я не знаю. Я поостерегся спрашивать, нет ли у вас в эти праздничные дни занятия поинтересней, чем посиделки с соседом-рогоносцем. Нет, я не стал рисковать. И теперь, после всего, что случилось, я так и не знаю, сожалею ли я о том, что мне не хватило деликатности, или, напротив, я этому рад. Конечно, мне совсем не хотелось, чтобы вы отказали мне от дома, но дело было не только в этом, Луи, не только в этом. Просто я уважал ваше молчание.

И даже сегодня ночью, знаете, если я и позволяю себе все эти непристойности, то лишь потому что пишу вам с края света и не просто от бессонницы, а в состоянии, близком к сомнамбулическому.

На вечер 24-го вы поставили «Жизнь прекрасна» Франка Капры.

– Это не слишком оригинально, и вы, должно быть, смотрели его уже раз двадцать, но вот увидите, этот фильм никогда не надоедает. К тому же этот «Кло-Вужо» так мил…

Я не осмелился вам противоречить (никогда ранее я этот фильм не видел) и был вам крайне признателен за то, что вы не включали свет еще несколько минут после последних слов ангела. Я очень близко к сердцу принял судьбу Джорджа Бейли и чувствовал себя не слишком уверенно, возвращаясь в свои пенаты. Настолько неуверенно, что несколько минут спустя вернулся к вашей двери и позвонил.

– Вы что-то забыли?

– Нет, но я… Знаете, я ведь тоже продолжил дело своего отца, возглавил предприятие после его смерти, и…

Я не знал, что к этому добавить, то есть нет, конечно же, знал, но не знал, как именно к этому подступиться, и вы, откровенно рассмеявшись, положили конец моей нерешительности.

– Ну конечно же, я это знаю, еще бы! Это всем известно! Ваше имя принадлежит к цвету французской промышленности! Помилуйте… Давайте ложиться спать. Все эти эмоции нас измотали.

Вернувшись к себе, я присел на кухне в своей громадной пустынной квартире и после второго стакана прекрасного виски, тем же утром подаренного мне одним из моих коллег, я смог наконец закончить свою фразу.

Этого никто тогда не услышал, а говорил я вам примерно следующее:

– …я ведь тоже продолжил дело своего отца, возглавил предприятие после его смерти, мне тоже знакомо это одиночество. Это одиночество и чудовищный страх потерять лицо. Мой враг – это не одиозный Поттер, мой враг – это конец мира, конец моего мира, того мира, что я представляю. Мой враг – это глобализация, это Азия, где я торчу прямо сейчас, это рассредоточение производства. Мой враг уже меня победил. «Цвет французской промышленности». Но мой дорогой Луи… французской промышленности уже давно нет и в помине. Я уже не занимаюсь развитием своего предприятия, я лишь стараюсь его не потерять. Спасаю фамильные драгоценности. Или же, наоборот, избавляюсь от них. Колосс-то на глиняных ногах…

И сделав еще несколько глотков:

– …а я один-одинешенек. И я куда более одинок, чем этот Джордж Бейли, потому что я никогда не занимался благотворительностью, я… даже случайно, и я никогда не умел сделать так, чтобы меня любили, как его, потому что я сам никогда не умел любить. Как бы цинично это ни прозвучало, но у меня никогда не было на это средств. Мне часто доводилось слышать, что я, мол, родился в сорочке, и в какой же это сорочке, бог мой? В военном мундире? В епископском облачении? Я родился не в сорочке, я родился нагруженным. В итоге моя жена вовсе не спешит меня спасать, вместо этого она отправляется греть свою задницу черт знает куда, лишая меня на Рождество общения с моими детьми. Что до друзей, то давайте начистоту. Каких таких друзей? О чем мы вообще говорим? Я даже не знаю, как это делается, друг. Это разрабатывают? Доводят до ума? Это тестируют? Изготавливают по образцу с минимальными расходами? Это лицензируют?

Ладно. Я был пьян.

И будучи пьяным, я смог наконец закончить свою речь:

– …нет, у меня ни на что не было времени. И я один-одинешенек в этом мире. Но этим вечером вы все еще здесь, сосед-незнакомец, ничего не говоривший, ни о чем не спрашивающий, тот, перед кем я все время предстаю с пустыми руками, чего со мной ранее никогда в жизни не случалось, перед кем я все время предстаю с пустыми руками, потому что и

сам я абсолютно пуст, настолько пуст, обескуражен, беззащитен, что у меня уже не осталось ни гроша вежливости за душой…

Вот дерьмо. Еще один глоток:

– …и… вовсе не мое сообщество поймало меня за воротник над парапетом однажды вечером в полном отчаянии, а вы. Это вы меня спасли.

Я плачу, Луи. Оплакиваю самого себя.

Нет, но это уже чересчур. Посмотрите-ка на этого негодяя, который крадет у вас вашу надгробную речь! Хорошо хоть, от сарказма не умирают…

Воспоминания о ваших супчиках пробудили мой аппетит.

Не уходите, переключаю вас в режим ожидания, чтобы заказать еду в номер.

Скоро три, стоя у окна, я проглотил свою плошку бибимбапа (рис, жареные овощи, жареные яйца, паста из красного перца).

Свыше десяти миллионов жителей, и кажется, будто никто не спит. Офисы, высотные здания, рекламные экраны, Сеульская телебашня, транспортные потоки, улицы, дорожные рабочие, мосты, все блестит. Нет, простите, все сияет. Нет ни луны, ни одной самой крохотной звездочки. С той высоты, на которой я нахожусь, и так далеко, насколько позволяет мое зрение, все, что я вижу, искусственно. Все сияет. Все мигает.

(Я заметил, что гостиничные номера в этих монструозных городах на каком бы то ни было континенте всегда выступают в роли сейсмографов моего внутреннего состояния. Когда я в форме, меня восхищает человеческий гений и я могу часами изучать его творения, но когда я не слишком бодр, как сегодня, все это меня убивает, и я отворачиваюсь из последних сил.

Что мы сотворили? Куда мы движемся? Как все это закончится?)

Ладно, тоже мне нашелся великий проповедник, возвращайся-ка к Луи или иди спать.

Билли Уайлдер, Эрнст Любич, Франк Капра, Стенли Донен, Винсент Миннелли – мы провели это время конфетного перемирия[37] на самой прекрасной кондитерской фабрике за всю историю кино, и понемногу, день

ото дня все больше превращаясь в старых завсегдатаев этого крохотного местного кинозала, мы начали разговаривать.

Поначалу мы стали вести синефильские беседы. Мы обсуждали режиссуру, сценарии, продюсеров, всякие истории со съемок, актеров, актрис (вы были без ума от шеи Одри, все остальные вас только развлекали), и так, от фильма к фильму, от одного к другому, мы перешли к нам. Ну, в общем, не то чтобы к нам самим, но… к нашей мужской жизни. То есть к тому, что имело не слишком много общего с нашим внутренним «я». К таким разным и разнообразным темам, как: наша работа, наша карьера, наши дела, наши профессии, наши занятия, наши отрасли, наши партии, короче говоря – к нашему социальному положению.

Социальное положение, которое с учетом тех развеселых праздничных вечеринок, что мы проводили в конце года, все больше походило на смысл нашей жизни, ну да ладно… кидаясь конфетти и приплясывая, как маленькие утята, мы были слишком заняты, чтобы с апломбом указывать друг другу на этот факт.

(По правде говоря, и вы, и я отсиживались в окопе, наблюдая за линией фронта через зазоры между Одри, Ширли, Джинджер, Марлен, Лорен, Джейн, Сид, Лесли, Дебби, Ритой, Гретой, Глорией, Барбарой, Катариной и Мэрилин.

Признайте, что мешки с песком видали и похуже…)

Да, мы стали поворачиваться к соседу по креслу, после того как включался свет, от вечера к вечеру и не без помощи вина наши доспехи растрескивались, языки развязывались и мы стали показывать друг другу наше собственное кино.

Наш собственный «Зуд седьмого года»[38], наш «Путь к славе»[39], нашего «Вождя краснокожих и других»[40], наш «Иметь и не иметь»[41], наш «Бульвар Сансет»[42], нашу «Двойную страховку»[43], наш «Глубокий сон»[44] и нашего «Туза в рукаве»[45].

Чем дальше мы отодвигали от себя частную жизнь, тем больше мы раскрывались друг перед другом, поскольку то, ради чего мы жили, как бы ни печально это выглядело, многое говорило о нас. Да практически все.

Ваш костюм, ваша специальность, ваши досье, ваши преценденты, моя мантия, моя наследственность, мои досье, мои хлопоты; что мы могли к этому добавить?

Ничего.

Нашу жизнь. В этом и заключалась наша жизнь.

Эй, Кайе-Понпон, ты вообще сам-то слышишь, как ты говоришь? Со всеми этими твоими сложными временами, со скрытыми рифмами, бесконечными фразами и всем прочим? Ты не мог бы выражаться попроще, старик?

Ну так вот, уф… э-э-э… ладно… короче, в общем, мы с Лулу стали крепко выпивать, ну и само собой, стали расслабляться. И чем дальше мы с ним мерились пиписьками, тем сильнее становилось очевидно, что хвастаться-то нам особенно нечем и что даже и говорить-то об этом не стоит, учитывая, что семейные торжества шли полным ходом, а мы с вами, как два старых дурака, торчали тут, поедая свою тапиоку и пересматривая фильмы, которые знали уже наизусть…

Эй…

Вы видите мой средний палец, вот тут? Видите, как хорошо он вам указывает путь к дому Пер Ноэля?[46]

Не знаю, как вы, Луи, я не могу говорить за вас, но для меня, скажу вам прямо: это была лучшая передышка за всю мою жизнь.

И даже больше. Если бы я посмел. Если бы я был действительно уверен в том, что вы и вправду умерли навсегда. Тогда, быть может. Тогда, возможно, я бы вам сказал: это была единственная передышка в моей жизни.

Рождество – это всегда не слишком весело, если вы единственный ребенок, когда вы к тому же становитесь сиротой, то это начинает напоминать какое-то нелегальное бегство, но когда к вашему багажу добавляется первый травматлантический развод, а вслед за этим вас еще и имеют в жесткой форме с детьми, якобы страдающими от вашего стресса, с заботливым любовником, то тогда… Как бы это сказать? У вас было лучше, чем вся эта мишура с рождественским вертепом и добрыми намерениями.

У вас было честнее.

Я был плохим сыном, плохим мужем и плохим отцом, я это знаю. Это так. Это факты. Но… Нет. Никаких но. Я пишу вам сегодня ночью не для того, чтобы оправдываться. Так что никаких но. И все же. И. Вместе с тем. Так уж вышло.

Так уж вышло, что меня воспитали без любви. Меня воспитали без любви, и откуда вам было знать, что значит расти в одиночестве и никогда не иметь вдоволь… как бы это сказать… не наобниматься вдоволь: от этого

навсегда остается некая жесткость и неловкость.

Я был, таким и остаюсь, жестким и неловким мужчиной.

И вместе с тем, так уж вышло, что меня еще и обучили, нет, простите, выдрессировали для того, чтобы обеспечивать незыблемость предприятия, не мною основанного, но дающего кров и пропитание (а может быть, даже, может быть, кто знает? Еще и уход, образование, мир, некоторый покой, скажем, относительное материальное спокойствие) тысячам людей.

И это тоже факты. Плохой муж, плохой сын и плохой отец, но тем временем все вокруг сыты. Все.

Если бы я сел в тот самолет, как было запланировано при условии, что я получил бы более высокую оценку за письменную работу по истории, если бы я знал, кем был Пипин Короткий, что он основал и кто был его сыном, если бы отец не наказал меня, лишив этой совместной с ним поездки, то я бы тоже погиб. Меня бы похоронили рядом с ним в каком-то нелепом мавзолее, и эти тысячи людей, которых я упоминал выше, возможно, никак бы от этого не пострадали, но покамест все же именно я взялся за это дело. И моего мнения на этот счет никто не спрашивал.

И все сыты.

Все остальное осталось за бортом. Я не смог совместить профессиональную жизнь с частной. Я знал, что лучше подготовлен, именно подготовлен, для профессиональной деятельности, и отдавал ей предпочтение, более или менее сознательно, в зависимости от того, насколько меня от этого отвлекала жизнь.

Эти подробности не делают мне чести, и, кроме меня, об этом никто не знает, но мне-то известно, мне-то ведь известно, что я отдавал предпочтение тому, что казалось мне проще, удобнее, нет, пусть не удобнее, в нашей семье не принято искать комфорта, но более выполнимо.

Я поощрял собственную жесткость и неуклюжесть, чтобы превратить эти недостатки в свои преимущества. Я поощрял в себе то, что приносило мне наименьший вред. И… И вот до чего я себя довел, вот что я без конца прокручивал в голове ночами, когда уходил от вас и мой мозг отпускал тормоза.

У вас, думал я тогда, хотя вы и жили один, все-таки чувствовалась жизнь, чувствовалась любовь к жизни. У меня ничего этого уже не было.

Я по-прежнему не знаю, почему вы протянули мне руку, Луи, вы так никогда мне этого и не сказали, но одно я знаю наверняка – то, что наша

зимняя передышка пошла мне на пользу. «Ешь суп, вырастешь большой» – как говорят настоящие мамы и… Спасибо за ваши супы, сосед. Спасибо за ваши супы, супы-пюре, крем-супы и колдовские похлебки. Увы, я был уже слишком стар, чтобы вырасти, но вы помогли мне разогнуться, выпрямить спину, наново справить малышу позвоночник, тем самым позволив ему выгадать… что… быть может, целый сантиметр.

Целый сантиметр и желание, или скорее нужду, потребность в продлении этого перемирия с самим собой.

Пипин Короткий был королем франков, он основал династию Каролингов и был отцом Карла Великого. Так, теперь, когда я это помню, я бы мог это наконец забыть, не так ли?

Нет, правда, какое мне дело до этого Пипина Короткого…

Наш новогодний вечер был безупречен.

Накануне я не приходил, и в этот вечер приехал поздно, потому что был в разъездах, стремясь поблагодарить всех сотрудников головного офиса и наших французских филиалов за прошедший год. (Не люблю пожелания. Слишком благочестиво, слишком галантно.) Смотрите-ка, плохой отец, зато какой радетельный хозяин, съязвят злые языки. Да. Это правда. Весь из себя радетельный хозяин. Пройти по офисам, развлечь целые этажи, посетить мастерские, сбить с ритма, наведаться в сторожки, посмотреть на лица, пожать руки, заглянуть в глаза, что-то понять, что-то отметить в уме, взять на заметку, чтобы не забыть, никого не забыть, спуститься на парковку и поприветствовать тех, кого никогда не видно, не переборщить, даже вообще ничего не делать. Просто, вот. Просто я тут. Просто прошел. Я ваш добренький хозяин, бедолага и страдалец, это и так понятно, но все же посмотрите сами: вот он я. Я помню, что вы существуете, вот и все. Это все, что я имел вам сказать: я о вас помню.

Итак, как я уже сказал, я приехал поздно и даже не потрудился поменять рубашку, тогда как вы, вы надели праздничный фартук и предстали перед нашей спасательной шлюпкой, коей нам приходился диван, с большим подносом.

На подносе стояли две белые пиалы под шапками из слоеного теста.

Вы прочистили горло и с важным видом сообщили, отведя назад и согнув за спиной правую руку:

– Сегодня вечером у нас трюфельный суп. Это блюдо было создано в 1975 году мсье Полем Бокюзом в тот день, когда он получил орден

Почетного легиона по случаю обеда, дававшегося в Елисейском дворце мсье Валери Жискар д'Эстеном, бывшим в то время президентом Французской республики, и его супругой, игривой Анной Эймоной.

И тут я рассмеялся. Я рассмеялся, увидев вас с бюстом изображенной на вашем фартуке особы крайней степени вульгарности и практически голой (разве что немного бахромы тут и там, немного бирюзы да несколько орлиных перьев), которая, широко раздвинув ноги, сидела за рулем «Харли-Дэвидсона».

Я рассмеялся, и вы мне улыбнулись.

И это было нашим поцелуем под омелой[47].

В тот вечер вы были в отличной форме, поставили «Поющих под дождем»[48], думаю, вы немного выпили, пока меня ждали, и когда закончился фильм, тихо сказали:

– Я должен вам кое в чем признаться…

Мне очень не понравилось то, каким тоном вы это сказали. Я не желал абсолютно никаких признаний. Я терпеть не мог признания. Они меня ужасали. До сих пор нам с вами прекрасно удавалось не впадать в излишнюю сентиментальность, так зачем же все портить?

– Слушаю вас. – Я напрягся.

– Так вот, представьте себе, что этот вот старый дурак, ну да… Вот именно этот… Этот нескладный дылда, рассевшийся тут рядом с вами, был признан лучшим чечеточником Гарвардского клуба «Фред и Джинджер»[49] летом одна тысяча девятьсот… ну, в общем, в свое время…

– Неужели? – Я расслабился.

– Погодите.

Вы встали.

– Хочу, чтоб вы знали, Поль (он был слегка навеселе), что… что… чтоб вы знали… что не вы один обеспечивали французский экспорт. Нет, нет, нет! Я тоже поучаствовал в продвижении страны, мой дорогой! Я тоже носил наши цвета! Сидите смирно и смотрите, как бьет чечетку френч-лягушка.

Он вернулся, обутый в старые триколорные ботинки.

– And now (барабанная дробь чайных ложек по бронзовому бюсту деда), ladies and gentlemen… Oh, no, damn, and now, gentleman only, just перед вашими изумленными глазами – the very famous Froggy Louïsse co

своим еще более famous[50] номером чечетки!

И тут…

Танцующий клоун[51].

Фред Астер и Джин Келли[52] в одном лице и лишь для меня одного. Слегка неуклюжие и в легком подпитии, зато только для меня одного. Металлический перестук каблуков по османовскому[53] паркету.

Скольжение, перестук, пение, и прямо-таки музыка, да-да, музыка, извлекаемая металлическими набойками каблуков из паркета старого барона, на фоне доносящихся издалека приглушенных взрывов петард от невесть какого салюта.

Издалека (но я действительно сидел в самой глубине дивана) это напоминало «Американца в Париже»[54].

Потом вы показали мне технику шага однозвучного, в два удара, в три удара… Потом другие комбинации, нет, вы больше не могли, вы рухнули обратно к своему изумленному зрителю.

Ох, Луи… Как же прекрасно он завершился, этот ужасный – annus horribilis – год… Как же он хорошо завершился…

Завершился еще и потому, что, прощаясь вскоре после этого, мы как-то дали друг другу понять, без всяких слов, что вот, now, gentleman and gentleman[55], шоу закончилось.

Пленка перемотана, зонтики закрыты.

Я впервые пожал вам руку, и впервые вы проводили меня до дверей моей квартиры.

Я сказал вам, немного напыщенно, как я теперь думаю:

– Благодарю вас, Луи. Благодарю вас.

Вы отмахнулись от этой торжественности и ответили мне, глядя прямо в глаза:

– Все наладится. Вот увидите: все наладится.

Я согласно кивнул, в точности как это сделал бы маленький Поль нашего первого вечера с грязными руками, и вы удалились с восхитительным – тап-тап-тик-а-ток – голливудским антраша[56] made in France.

На следующий день, первого января, после обеда я отправился навестить свою матушку в ее роскошном доме престарелых с медицинским уходом.

Она меня, конечно, не узнала. Все как всегда.

Она не сводила глаз с незнакомца, устроившегося в изножье ее кровати, и некоторое время мы поиграли в «гляделки», а потом… потом я в конце концов нарушил молчание:

– Знаете, у меня появился друг…

Она никак не отреагировала.

Она никак не отреагировала, но это было абсолютно не важно, потому что нечто хорошее уже свершилось. Хоть раз в жизни, но мне, кажется, удалось установить с ней некий контакт.

Так что я продолжил:

– Его зовут Луи, он очень хороший и умеет плясать чечетку.

От того, как прозвучали эти слова, такие глупые, простые, ребяческие, праздничным днем перед этой женщиной, которая только теперь, окончательно утратив рассудок, наконец смягчилась и стала более или менее походить на нормальную мать, мне захотелось плакать и смеяться одновременно.

Я уже и сам ничего не соображал…

Ничего не соображал. Совершенно запутался.

Настолько запутался, что просидел рядом с ней гораздо дольше, чем обычно. Мне было хорошо, спокойно, я разомлел. Я смотрел на нее. Смотрел на ее лицо, шею, ее длинные никчемные руки, ее ладони, говорил себе: «Посмотри на нее хорошенько, потому что ты больше не вернешься. Больше никогда ноги твоей не будет в этой комнате. Она и раньше тебя не знала, а сейчас уже и не помнит, так что теперь это как с той историей про Каролингов – слишком поздно да и незачем.

Посмотри на нее в последний раз, а потом сделай, как учил тебя Луи. Скольжение, сдвиг, перенос веса тела и удар металлическим каблуком. Концентрируйся на звуке, Поль. Посмотри на нее в последний раз и оставь позади то, что утратило всякую ценность».

Дальше военные действия возобновились, но все уже было иначе. Хотя мы крайне редко виделись с вами в течение нескольких следующих недель и даже месяцев, но я знал, что вы есть, что добро существует. В столь беспросветной жизни, как моя, эдакий луч может показаться ничтожным, но я знаю, что имею в виду. Это как в той ужасной комнате, где моя мать ожидала смерти: нечто хорошее произошло, оно уже свершилось. И

внезапно все прочее уже не так давило на грудь. Все прочее наладится. Все изменилось. Одри была уже позади.

Ариана не вернулась, но наши отношения стали теплее. Конечно, предлогом служили наши девочки, наши дочки и их жизнь, и это был красивый предлог. Я и раньше был абсолютно неспособен обеспечить им счастливую семейную жизнь и теперь не стал ловчее, но им все это уже давно было известно. Им все это было известно, и они нашли свой выход из положения. Так что это они стали заботиться о своем папе-растяпе. Они брали его под свою опеку раз в две недели по выходным, по вечерам в среду, если он не был в отъезде, и в отведенные ему недели каникул. Они одевали его, прогуливали, водили в сад «Аклиматасьон» в Булонском лесу и в зоопарк в Венсенском. Они показывали ему, как отправлять шарики, фейерверки и конфетти по смс, учили разбираться в тонкостях смайл-грамматики, смотреть мастер-классы по макияжу, играть в «Харвест Мун»[57], искать гномов, приобретать камни телепортации, строить курятник, спасать принцессу урожая, менять фото профиля, отфренживать фальшивых друзей, лайкать забавных ютуберш, не ходить все время в ресторан и делить по-честному слипшийся ком переваренных макарон.

Главное, они показали ему иной путь вместо угрызений совести. Иной путь, в обход, напрямик. Прощение. Ладно, он не справился со своими обязанностями и некоторые его промахи уже никогда не исправить, но вместе с тем ведь именно он нашел волшебную перчатку в казино гномов, именно он.

Да, мы с вами больше не встречались, но некоторое время спустя однажды вечером вы возобновили общение. Вы столкнулись с нами на лестничной площадке и пригласили в ваш кинозал.

О tempora, o mores[58], суши вместо трюфелей, да и Джулия не в нарядах от «Живанши», но фильм «Красотка»[59] очень понравился и вам, и девочкам.

Так появился наш новый киноклуб: раз в две недели по субботним вечерам, если Луи был дома, то мы шли к нему. Вы им открыли Поля Гримо[60], они вам – Хаяо Миядзаки[61]. Вы подарили им Бастера Китона[62], они познакомили вас с Баззом Лайтером[63]. Вы показали им всего Деми[64], они вам – все работы «Гибли»[65]. Они обожали ходить к вам в гости. Они обожали ваш беспорядок, трости, рисунки Домье[66], ножи для писем и круглые хрустальные пресс-папье. Они говорили вам: «Но

почему же вы храните старые газеты на полу?», а вы им отвечали, приглушив голос: «Потому что под ними живут маленькие мышки, понимаете…», и после этого им было так сложно сконцетрироваться на фильме… Ужасно сложно… Одним глазом они следили за драмой Инопланетянина[67], а другим караулили хоть какое-нибудь колебание на поверхности старого позабытого «Монда».

Наши отношения оставались очень сдержанными, очень манерными. Мы оба были нелюдимы, получили более или менее одинаковое приличное воспитание, привившее нам крайнюю скованность наравне с хорошими манерами, так что мы вечно опасались потревожить.

Особенно я – всегда держался в стороне. Вы были деловым человеком, я знал, что вы часто работаете дома, и относился к этому очень щепетильно. (Работа! Работа как культ!) А еще иногда вы где-то пропадали. На светских раутах, как сказал бы известно кто. Ваши отсутствия, ваши неясные ночи. У вас была непростая жизнь, не правда ли, Луи? Впрочем, непростая, откуда мне знать, но уж, пожалуй, полная контрастов.

Из-за всего этого: ваша работа, ваше одиночество, ваши отлучки – наверное, я бы на том и остановился, на той паузе, что вы когда-то мне подарили, и считал бы себя уже слишком везучим, но наши с вами ботинки снова растоптали все наши хорошие манеры.

Уж и не помню, как, когда и по чьей инициативе все это началось, но в дополнение к суши-мыши с моими малышками это превратилось в наш новый холостяцкий ритуал. Воскресными вечерами, когда я был один и вы «постились» (как вы это называли), мы вместе чистили наши ботинки.

Как поездка на машине, когда дорога кажется единственным визави, или восхождение на гору, когда в сложных проходах следишь за каждым своим шагом, или чистка зеленой фасоли, когда, обрезая концы, надо вытягивать жесткие прожилки, в общем, как любая физическая деятельность, которой занимаешься вдвоем и лицом к лицу, чистка ботинок была великолепным способом узнать друг друга как бы невзначай.

Мы расшнуровывали ботинки, очищали их, накладывали крем, размазывали его, пропитывали кожу специальными средствами, водоотталкивающими и питательными, смазывали воском, терли щетками, глассировали, патинировали, снова шнуровали и между делом, ненароком, по ходу и под прикрытием всех этих многочисленных процедур, монополизировавших все наше внимание, между делом, как я уже говорил,

болтали.

Начинали мы всегда с обсуждения товаров (с ботинок, которые у нас были, есть и будут), затем переходили к обсуждению контор (еженедельной работы, которая у нас была, есть и предстоит) и лишь под конец говорили о прибыли (о Боге, о Жизни, об Одиночестве, о Смерти; о прошлом, настоящем и будущем).

Так, заботясь об одних материях, мы рассуждали о других, и зачастую последние взмахи щеток при финальной полировке уносили нас очень далеко от материального мира.

Ботинок за ботинком, пара за парой, мы учились понимать друг друга, кто как устроен и как функционирует, но поскольку мы оба были очень сдержанны, то пренебрегали, нет… не то чтобы пренебрегали или же игнорировали, но относились с уважением, скорее даже соблюдали, да-да, именно *соблюдали*, как соблюдают правило, ритуал, минуту молчания или как раз таки пост, вот так и мы, увы, соблюдали внутренние заповеди друг друга и никогда не позволяли себе вмешиваться.

Изучив внутренний двигатель своего визави, мы с вами ничего не узнали ни о его горении, ни о топливе, ни об износе, и сегодня я горько сожалею об этом.

Я сожалею, потому что весть о вашей смерти стала для меня тяжелым ударом.

Я не знал, Луи, что вы болели. Я не знал, что вы боролись с болезнью долгие годы. Я был там, жил за соседней дверью, я стольким вам обязан и готов был сделать для вас что угодно, но я ничего не знал.

Вы были другом моего одиночества, другом на склоне лет, другом вечерним, походным, бивуачным, другом вымышленным, быть может, но другом. Другом, которого мне не хватило времени узнать.

(Сначала написал *полюбить*, но, спохватившись, исправил.) (Что за дурак…)

Друг, которого мне не хватило времени любоценить.

(Что за дурак, говорю же…)

Конечно, два года – это немного, и мы не так часто виделись. Если сложить все вместе и вычесть фильмы, вычесть дочек, вычесть взмахи наших щеток, вычесть формулы вежливости, то, в конечном итоге, часов нашего присутствия не так много и наберется, и…

И весть о вашей смерти стала для меня тяжелым ударом.

Вы часто пропадали. В некоторые разы подолгу. Девочкам вы говорили, что ездите в деревню. Прогуливать ваших мышей. А потом однажды вы не вернулись.

Однажды вы не вернулись, а потом Люси, моя младшая дочь, узнавшая это от своей сестры Лоры, а та от их мамы Арианы, а та от няни Мако, а та от нашей консьержки Фернанды, сказала мне, что бесполезно вас дальше ждать, чтобы вместе посмотреть «Могилу светлячков»[68], что вы тоже теперь на небе, что вы никогда не вернетесь и что… но что станет с маленькими мышками?

Я узнал о вашей смерти через длинную цепочку женщин.

Я был вашим другом и узнал о вашей смерти через консьержку.

Какая пощечина, богач.

Какая оплеуха господину, дарителю рождественских подарков, сеньору чаевых.

Смачная звонкая оплеуха.

Вот видите, как вы до самого конца работаете над моим воспитанием…

Потом поползли слухи, что вы… что вы покончили с собой. Это не вызвало у меня интереса. Я не придал этому никакого значения. Я вам за это признателен и тем более вас уважаю. Самоубийство тоже входит в число моих вымышленных друзей. Просто я снова осунулся, согнувшись под грузом угрызений.

Мысль о том, что вы, быть может, положили конец своим страданиям, причинив себе дополнительную боль, делала меня несчастным. Я бы мог, я был бы должен, я бы хотел вам помочь. Не важно, каким образом. Любым способом.

Я мог разузнать детали вашего ухода со сцены, но я не захотел этого делать. Вы хотели уйти и ушли, это единственное, что имело значение. Единственное, что было важно. Единственное, что меня утешало.

Луи,

Однажды вы уехали в деревню со своими мышами, потом одна

маленькая девочка в слезах сообщила мне, что вас больше нет, потом, через некоторое время, какие-то люди пришли освободить вашу квартиру, вечером того же дня пухлый юноша, от которого пахло потом, позвонил в мою дверь и протянул мне коробку, на которой вашим почерком было написано: «отдать соседу по лестничной площадке», внутри находился деревянный ящик.

Ящик из-под «Шато-О-Брион» на память о вашей первой миссии.

В ящике не было бутылок, потому что мы выпили их еще тогда, но лежали две щетки из конского волоса для нанесения крема (одна для светлого, другая для темного), две щетки из свиного ворса для полировки, две маленьких щеточки наподобие зубных из ворса кабана для перемычек и коварных уголков, четыре банки крема, четыре банки ваксы в тон к кремам, питательное молочко, ластик для замши, креповая щетка, порошок соммьерской глины[69] и мягкая тряпка из старой рубашки, которую я узнал. Которую я на вас видел. Кстати, быть может, она и старой-то особенно не была. Но она была мягкой, это точно. Вместо слов прощания, которых вы не смогли или не пожелали написать.

Она была такой мягкой, что я в нее высморкался.

Луи, я очень тяжело перенес ваш уход втихомолку, очень тяжело. И тут, снова не знаю, что пострадало больше – гордость ли моя, или нутро (сердце, болван, сердце), но я долго еще пребывал в состоянии, которое описал вам в начале письма. Что я там тогда написал? Клин. Ах да, клин, вот именно. Клин, который засадили в мою черепную коробку сверху, ровно посередочке, туда, где затянувшийся родничок.

Я всю жизнь мучился страшными мигренями – и вы это знали, потому что однажды вечером были свидетелем моего приступа; я тогда растянулся прямо у вас на паркете, а вы двумя руками держали мою голову, я осел на это ложе из старых газет бесформенной массой боли, умолял вас все выключить, ничего не говорить, все вырубить, погасить, заткнуть, молил о полной темноте, не шевелиться, ничего не двигать, смочить полотенце в ледяной воде и положить мне на лицо, а чуть позже, когда приступ миновал, я объяснял вам, что это похоже на энуклеацию, когда некий злой дух, вооружившись острой чайной ложкой, располагается прямо за глазным яблоком, и, налегая всем весом на свое пыточное устройство, поворачивает ручку то в одну, то в другую сторону очень медленно и вдумчиво, словно хочет вынуть глаз; и что эти приступы так внезапны, жестоки и беспощадны, что я уже раз десять, раз сто мог наложить на себя руки – да,

я всегда страдал от чудовищных мигреней, а теперь, как будто этого было мало, у меня из головы не выходит еще и ваша смерть, и…

Пойду приму душ, скоро вернусь.

обжигающая струя воды
долго, долго, долго

растоплен
дренирован
растворен
промыт
размыт
смыт

Смыт, дружище. Смыт.

Теперь получше.

Солнце встает. Мне надо поторопиться.

Если я тут только что упоминал о моих адских приступах, то вовсе не для того, Луи, чтобы меня пожалели, а просто чтобы снова встать на ноги.

У меня нет больше времени подыскивать слова. До моего отъезда осталось менее двух часов, а я все еще замотан в полотенце.

У меня нет больше времени ни на что, мне надо просто снова встать на ноги, прежде чем засыпать пеплом тлеющие угли и покинуть этот бивуак.

Опорой мне в этом служит, напоминаю – копипаст, – та «умная женщина, которой я только что (позже я расскажу вам, при каких обстоятельствах) поведал об этих наших утренних встречах-невстречах, подчеркнув то странное ощущение поддержки, которое они у меня вызывали».

Да. Она. Та, что останавливает Марселя на улице, спрашивая его о том, возвращается ли он от герцогини Германтской или из общественного туалета.

Это из-за нее мы провели эту ночь вместе с вами, вы и я.

Из-за нее или благодаря ей, не знаю, но в одном я уверен, что без нее, без ее иронии, без ее проницательности, без ее таланта, без Пруста и

Морана, я бы никогда этого не сделал.

Я бы никогда не постучался к мертвым. Я бы так и остановился на моем файле «Без названия 1», на словах «как ты меня достал» и никогда бы больше к вам не обращался. Или же как можно реже.

Я не уверен, что вы от этого особенно выиграете, но на этот раз я не закончу грубостью.

Ты не достал, Луи. Ты вовсе не достал.

Так вот, обстоятельства.

Пришло время сказать об обстоятельствах.

Я был в аэропорту. Ну да… Судьба. Я был в лондонском Хитроу, и в зале гигантского аэропорта у меня случился приступ.

Весь этот шум, звуки, люди, свет отовсюду, неоновые огни, объявления, музыка, толпа, запахи, техника, машины, рамки металлоискателей, звуковые сигналы, разноцветье, движение, волны, сирены, кофемашины, отопление, кондиционирование, керосин, звон, телефоны, крики, смех, дети – я думал, что умру от боли.

Я стоял у колонны, прижавшись к ней лбом, уже готовый отшатнуться от нее, чтобы наконец разбить об нее голову. Разнести вдребезги одним махом, как яйцо, как гнилой калебас, как кокосовый орех, который наконец пришла пора расколоть.

Я задыхался, был весь мокрый от пота, меня трясло, я снимал одежду, дрожал, я…

Я очнулся в больничной палате.

Опущу детали, но это был долгий путь бесславного бойца, закончившийся тем, что по категорическому настоянию всяких страховщиков и банкиров я был вынужден согласиться на *обследование*. Обнажиться. Пройти полный осмотр. Предстать перед учеными. Осуществить в некотором смысле собственный аудит.

И вот так после нескольких консультаций я оказался сидящим перед некоей женщиной.

Перед этой женщиной.

Мне нечего было ей сказать.

Я ничего ей не говорил на протяжении первых двух сеансов.

В начале третьего сеанса – который, как мы с ней заранее

договорились, станет последним, в связи с очевидным отсутствием у меня всякого стремления к сотрудничеству, – она сказала:

– Знаете, если префикс «психо» вас как-либо дискредитирует, поскольку, похоже, так оно и есть, вы можете относиться ко мне, как это делают мои пациенты, наиболее невосприимчивые к любым формам дискредитации, те, кого считают безумцами, душевнобольными, умалишенными, невменько, наполеонами и тому подобными. Знаете, как они меня называют?

Она выглядела такой величественной в своей стервозности, что мне хотелось ответить ей: «Жозефиной», но я не посмел.

– Они зовут меня мозгоправом, доктором по лечению головы, – продолжает она, улыбаясь. – Напомните-ка, с чем вы ко мне обратились… (надевает очки, рассеянно смотрит мою медицинскую карту). – Ах да… с болью в левом колене…

Ха-ха-ха. Как смешно. Сеанс психоанализа для клоунов.

Я ничего не ответил.

Она вздохнула, закрыла мою карту, сняла свои красивые очки, поймала мой взгляд и испепелила его.

– Послушайте, Поль Кайе-Понтье, выслушайте меня внимательно. Я напрасно теряю с вами время. Так что мы сейчас закончим этот сеанс. Не беспокойтесь, я подпишу вам все бумаги и справки, которые вам нужны, чтобы вернуться на ваш фронт. Да, я сделаю это для вас, но поскольку моя профессиональная совесть не менее требовательна, чем ваша, то вот вам…

Она снова надела очки, пробежалась пальцами по клавиатуре, наклонилась к принтеру за вылезшим рецептом и протянула его мне.

– Вот. К работе пригоден. Аптеку найдете на улице слева от выхода отсюда. Оплатите прием в регистратуре. До свидания.

Она встала, пока я читал ее назначение:

Бандаж на коленный сустав Silistab® Genu x 1.

Она стояла. Смотрела на меня.

Я сидел. Смотрел на свои колени.

У меня заболела голова.

Мне хотелось плакать.

Хотелось пить.

Было жарко.

Я заговорил с ней, чтобы сдержать слезы.

Предпочел открыть этот шлюз, нежели другой.

Уж лучше сдохнуть с открытым ртом, нежели пролить слезу перед этой незнакомкой.

Так что я открыл рот и произнес ваше имя.

А потом я… И больше ничего.

Она тоже ничего не говорила. Из уважения, думаю. Она видела, что я переминаюсь с одной ноги на другую, не решаясь прыгнуть в воду, и не позволяла себе подтолкнуть меня в спину. Очень любезно с ее стороны.

Спустя две-три долгих минуты она все-таки слегка меня подтолкнула:

– Вас мучает звон в ушах? У вас проблемы со слухом?[70]

– Нет, – рассмеялся я, утопая в слезах, – нет. Луи. Мой друг Луи.

Я хлюпал носом.

– Не двигайтесь.

Она вышла из кабинета и вернулась с рулоном бумажных полотенец.

– Простите, но ничего лучше у меня нет.

– Спасибо.

Она села в кресло рядом со мной, пока я утирал слезы.

Молчание.

А потом она заговорила со мной как надо. Она не сказала: «Ну да… Конечно… Так, значит, Луи… Луи… Ваш друг, вы сказали… Как интересно… Но все же… Но как… Но то да се, а вы тут при чем…»

Нет.

Она посмотрела мне прямо в глаза и спокойно сообщила:

– У меня следующая консультация через сорок пять минут. Что будем делать?

Она заговорила со мной о регламенте, о расписании, об эффективности. Она вернула меня в знакомую мне среду.

И я сорок пять минут говорил о вас.

Уже и не помню точно, что именно я говорил, но, должно быть, я говорил об этой вашей манере быть одновременно столь явным и столь неуловимым, быть безусловно здесь и в то же время всегда где-то далеко, быть столь великодушным и вместе с тем столь скованным. Обо всем, что вы для меня сделали, и о том, как жестоко меня покинули. О прощании, которого меня лишили. О том, что вам недостало веры. В меня, в себя самого, в нашу дружбу. Об этом неприятном ощущении, не дававшем мне покоя, что я так и не узнал вас. Что я вас упустил. Что я вас предал. Что я

оказался настолько бездарным.

Таким бездарным.

А еще о том, что я был единственным ребенком в семье. Что, возможно, я спроецировал на вас образ своего идеального брата. Что я вас вымечтал, выдумал, создал. Что я оплакивал не вас, а свою прекрасную голограмму. Что я на самом деле оплакивал целую кучу потерь. Вас, нашей дружбы, моего отца, доброго дядюшки, которым вы стали для моих дочек, собственного отцовства, своих сыновних чувств, своего детства, своей юности и своей собственной жизни, которой меня тоже в итоге лишили, и… И еще я говорил о ваших секретах, о ваших отсутствиях, о ваших недомолвках и о том, какие чувства пробуждал во мне этот ваш образ, когда по утрам вы, по всей видимости, возвращались из некоего мира свободы и свободных отношений, в то время как я готовился запереться в черной и длинной, как катафалк, машине, доставляющей меня на службу этому миру, ультралиберальному и враждебному всякой свободе, который я защищал изо всех сил, несмотря на то что он за несколько лет свел на нет плоды совместных усилий четырех поколений всех мужчин и женщин доброй воли, включая хозяев предприятий.

– Да, – повторил я ей, – именно этот образ преследует меня. Этот образ его на рассвете… Такого прекрасного, пусть и потрепанного ночью, болезнью, одиночеством, чем-то еще… Не знаю.

– Похоже на Поля Морана, вопрошающего Пруста…

Я не ответил. Предпочитал показаться снобом, нежели тупицей.

Она не дала себя одурачить. Она посмотрела мне прямо в глаза, долгим взглядом дав мне понять, что я и есть, о да, увы, и долгие эти секунды служили тому доказательством, самый настоящий сноб, причем наихудшего рода: тупица-сноб, а затем, убедившись в том, что я ее понял, она приблизилась к моему лицу и проговорила своим красивым низким голосом:

– Пруст… И на какой же раут отправляетесь вы ночью, что возвращаетесь с таким усталым и проницательным взглядом? Что за страхи, запретные для нас, познали вы, что возвращаетесь столь снисходительным и добрым?

Тишина.

Она: Что-то в этом духе, разве нет?

Я: …

Она: Вы ничего не говорите.

Я ничего не говорил.

Еще какое-то время она смотрела на меня, потом встала сама, знаком велела мне подняться и проводила до двери.

– В регистратуре, если захотите, вас запишут на повторный прием, но пока позвольте мне сказать вам нечто важное.

Я уже не слушал ее.

– Вы меня слушаете? – продолжила она.

– Простите. Да.

– Люди живут, люди жили, люди умирают, это так, вы… Вы слушаете меня?

– Да.

– Люди живут, и единственное, о чем вспоминают после их смерти, единственное, что важно, единственное, что остается, – это их доброта.

– …

– Вы со мной не согласны?

– …

– Вместо того чтобы зацикливаться на том, что этот человек вам не дал, расскажите о том, как он был добр.

– Кому? Вам?

– Мне, если вернетесь, ему самому, если больше не придете.

– Но он мертв.

– Он мертв?

– …

– Нет. Конечно же нет. Если бы он был мертв, вы бы его уже похоронили.

– Он сам прекрасно знал о своей доброте.

– Он знал об этом? Вы в этом уверены?

Молчание.

– Я не умею писать.

– А я и не говорила вам писать, я велела вам рассказать. Пусть это будет, в точности как вы сейчас рассказывали мне, просто обращайтесь к нему. Как будто он сидит перед вами. Не копайтесь в себе – просто поговорите с ним.

– …

– Поговорите с ним и попрощайтесь.

– …

– Обычно я не столь авторитарна, но тут я знаю, что вы больше не придете, и не хочу отправлять вас во вражеский стан, то есть оставлять наедине с самим собой, не выдав пропуска.

– …

– Скажите ему все, что у вас на сердце, и позвольте ему уйти.

– Все это кажется мне какой-то эзотерикой, – криво улыбнувшись, попробовал я отшутиться, – вы правда врач?

– Нет, но (ровно улыбнувшись) вы ведь никому этого не скажете, ладно? Скажем так, я проявляю гибкость, а вам, мой дорогой обладатель медкарты 1714, нечего делать в отделении психиатрии, вам просто надо выговориться.

– …

– Не ломайте себе голову, Поль. Вы абсолютно самостоятельно ломаете свою голову. Прекратите. Поступите проще. Проговорите то, что у вас в голове. Ладно, я вас оставляю. У меня еще много работы.

Я никогда к ней больше не возвращался.

Меня только что предупредили, что машина уже подана. Мне надо одеваться. Я должен ехать.

Луи,

Вы видите? Я снова встал на ноги.

Мне сообщили, что вы умерли. Мне велели вас похоронить. Я и сам только что говорил, что собираюсь засыпать пеплом тлеющие угли, прежде чем покинуть бивуак, но…

Но нет. Я не покину бивуак. Мне совершенно не хочется вас хоронить. Вовсе.

Не смею написать, что обнимаю вас. Не смею написать, что сжимаю в объятиях. Я…

Ладно. Я пошел.

Мальчишка

1

Я был в хлам, возвращался из Сен-Жан-де-Люза, чуть не опоздал на поезд, целую вечность добирался до своего вагона, а когда (уже ближе к Биаррицу) ценой долгого и многотрудного преодоления бесконечных коридоров дотащился-таки до своего места, то увидел, что ближайшие пять с лишним часов мне предстоит провести, втиснувшись за крохотный столик лицом к лицу неизвестно с кем, причем не по ходу движения поезда.

Да ладно.

Я ухватился за подголовник и какое-то время так и стоял.

Я держался, чтобы сдержаться, чтобы не блевануть, чтобы присесть, чтобы все обдумать, чтобы взвесить, как же я пьян… пьянь… все за и против этого своего невезения.

(Вот ведь угораздило, черт возьми.) (Места для семейных.) (Еще и у окна.) (В бар не выбраться.) (Все равно что смирительная рубашка, чего уж там.) (Вытрезвитель.) (Обезьянник.)

Ох, матерь божья. Ох, как же меня развезло.

Что я тут говорил? Ах да, я собирался с мыслями, сидя на ковролине, когда какой-то умник решил перетащить через мою голову свой чемодан на колесиках.

Ё-моё.

Я же тут, я бухой, мне дурно, меня мутит, я застонал, поднялся, сделал пару шагов и рухнул в кресло чуть поодаль.

Какая-то мерзкая старуха мигом меня оттуда выгнала.

Я пересел через проход, и на ближайшей станции (Байонна) (или, быть может, Дакс) неопознанный, слегка смущенный голос спросил меня, не ошибся ли я местом. Случайно.

Вот ведь непруха. Я три дня не спал, катался на серфе, купался, отжигал по случаю проводов холостяцкой жизни одного своего приятеля, который женился на одной моей бывшей, я пел, плясал, хохотал, пил, курил, смеялся, употреблял всякое, кайфовал, балдел, улетал в космос, мчал по Млечному Пути, скрутил себе перченый «косячок», окончательно потерялся, спустился с небес на землю, рыбачил, валялся на пирсе, выпил по последнему стаканчику с кузиной в привокзальном буфете, вставая, прихватил ее за «киску», извинился, вскочил в первый попавшийся вагон,

потерял контроль, меня накрыло, развезло, сморило, внутри меня что-то набухало, словно миксоматоз, я пересчитывал свои зубы и тщетно пытался вспомнить, куда делся мой клык, а также волосы, ремень, ключи от скутера, часы и достоинство. Я разговаривал по телефону с самим собой, договаривался с моей темной стороной, связь была так себе, и мне АБСОЛЮТНО не хотелось, чтобы меня в третий раз выдергивали из моей этиловой комы. Так что я отправился в свой «обезьянник», прошу прощения, на свое место, и больше не нарывался.

Я достал всех своих соседей, отдавив им ноги и оседая на их колени, пока наконец не протиснулся в свой закуток.

Я налег всем телом на подлокотник и прижался лбом к такому гладкому стеклу.

М-м-м.

Как приятно.

А теперь давай-ка на бочок и баиньки, как говорила моя бабушка.

Из-за этого странного создания, чей голос разбудил меня в Байонне (или в Даксе), хоть я и закрыл глаза, но заснуть сразу не смог.

Я дремал. Грезил. Старался как-нибудь убить время, потихоньку, по-хорошему, не прибегая к услугам овец. Мне было хорошо, я урчал и головой качал, убаюкиваемый шелестом колес.

Я три дня провел в нижних мирах, и теперь этот поезд вез меня на поверхность. Я оправлялся от угарного чада и сопел себе под нос.

Шум реальной жизни реальных людей долетал до меня, но настолько издалека, словно с другой планеты, и с некоторой задержкой, как из плохих наушников.

Когда-то давно, в годы моей безумной юности, я был диджеем и теперь микшировал себе колыбельную. Семплировал все звуки двенадцатого вагона и сводил их в этакий ненавязчивый дзен-музон, замешанный на парацетамоле и цитрате бетаина.

Лаундж скоростного поезда.

2

Я удобно устроился, крепко сжимая себя обеими руками и прокручивая перед глазами лучшие моменты этих выходных.

Эти три дня я отжигал по полной программе, потому что понимал, что уже вышел из этого возраста, и чувствовал себя так, словно и сам прощался с холостяцкой жизнью… (слишком толстый для старого гидрика) (слишком тяжелый для старой доски) (слишком ржавый для этих огромных волн) (слишком крутой для пустяковых падений) (слишком молодой, чтоб умереть) (слишком старый для юных красоток в бикини) (слишком усталый, чтоб не пьянеть) (слишком пьяный, чтоб держать дистанцию) (слишком грузный, чтоб танцевать стриптиз) (слишком легкомысленный, чтоб вызвать сожаления у отца невесты) (слишком медлительный для баскской пелоты) (слишком истерзанный, чтоб кого-то ласкать) (слишком истощенный, чтоб достичь оргазма) (слишком грустный зверь, чтоб над этим смеяться) (слишком все ничтожно) (слишком много всего) (слишком много ничтожного во всем), да, мне часто казалось, что пробил гуляке последний час. Что я постарел.

Стал старым, блеклым, грустным, грязным.

Париж меня укротил.

Мне было тридцать три, к этому возрасту один бородатый и длинноволосый парень уже столько всего совершил, что и мне уж пора, Господи Иисусе, взять в руки собственную судьбу и сотворить хоть несколько чудес, а не то, в таком темпе, я скоро не только с холостяцкой, но и вообще с жизнью распрощаюсь.

Я дремал, как я уже говорил, и улыбался, пересматривая избранные трейлеры.

…Поездка туда на машине Натана… Два попутчика, которых мы нашли на «Блаблакаре», чтобы не тратиться на бензин. Одного звали Патрисом (Патош), его мы подхватили на «Порт-д'Орлеан», другого Момо (Мохаммед) – его мы подсадили в Пуатье. (Надеюсь, Карл Мартелл[71], ты на нас не в обиде.)

Патошу мы поставили «отлично» за саундтрек (у него была классная музыка в телефоне) (мотаун[72] на полную мощность), «очень хорошо» за

болтовню (он не болтал), «хорошо» за дружелюбие (он угостил нас кофе), «удручающе» за навыки вождения (ему надо было пересдавать на права) и «неприемлемо» за внешний вид (короткие, по щиколотку, брюки-трансформеры, превращающиеся в шорты в случае особо хорошей погоды), что же до Момо, то он у нас получил «отлично» по всем статьям (он дрых как убитый всю дорогу), кроме одной – хористом он был никудышным (его храп убивал The Supremes[73]).

Their heart can't take it more.[74]

…Мальчишник Артура… Ужин красавцев в «Гранд-отеле» Биаррица. Все явились разряженные как милорды, а потом понеслось: по корнишу[75] в клуб «Пандора», где зажгли по полной, а напоследок одна легко и коротко одетая[76] особа распустила нам галстуки и всех нас по-своему связала…

Я хихикал во сне.

…Появление Камиллы… Моей Камиллы. Камилла, которую я так любил, под руку с отцом входит в церковь в деревне, где мы когда-то впервые отдыхали вдвоем. Комната, которую приготовила для нас ее мать, плотное постельное белье, пахнувшее лавандой, и розы на ночном столике. Моя прекрасная Камилла. Такая красивая Камилла. Обворожительная Камилла под звуки органа.

Моя Камилла шла под венец вся в белом, хоть и не была девственницей, озорница. Уж я-то это знал, да и мама ее, думаю, догадывалась. Во время завтрака она никогда не осмеливалась с ней заговорить.

…Как красиво она улыбнулась мне через плечо своего почти уже мужа, подойдя к алтарю.

Нежно. Лучисто. Жестоко.

Мы танцевали с ней в самом конце бала, и я осыпал ее свежеиспеченного мужа улыбками из-за шпилек ее шиньона… Уже слегка потрепанного. Слегка распущенного.

Нежными. Лучистыми. Жестокими.

…Дни, проведенные на пляже… Солнце, волны, друзья. Некоторые аж с раннего детства. С поры сачков и клуба «Маленькие креветки».

Купание, хохот, бесконечные разговоры, барбекю, тосты за местный

жамбон[77], за оссо-ирати[78], за розовое вино, за любовь и молодоженов, за рогоносцев и за жизнь.

Мы уплывали ловить волну, держась более или менее ровно, и возвращались, словно мокрые псы. Побежденные, побитые, сконфуженные. С поджатыми хвостами и болтающимися между ног наполовину снятыми гидрокостюмами.

…Наша последняя рыбалка с пирса нашего детства и последнее соревнование по нырянию среди этих скал, от которых наши матери сходили с ума.

…И не было тут больше наших матерей, которые устраивали нам взбучку, когда мы возвращались к ним после подвигов, дрожа от страха и восторга. Обычно они быстро возвращали нормальный цвет нашим посиневшим губам, задавая нам жару. Мама Артура уехала в снятый особняк, потому что поругалась с организатором банкета (какая-то темная история с недостающими ящиками шампанского) (гм-гм…), а моя не пришла нас сегодня ругать, потому что дурной краб утащил ее этой зимой к иным берегам…

…Моя мама была школьной учительницей, и если бы не она, то молодой супруг – он сам это сказал, разрезая свадебный торт, и от его слов у всех на глаза навернулись слезы, – этот осел никогда бы не смог составить такую длинную и красивую речь.

…Напоследок перед самым моим отъездом мы с Артуром и его соседом ели льежские вафли, а потом медленно и тщательно облизывали пальцы, пялясь на стайку юных резвящихся испанских сардин.

Наши пальцы с привкусом морской соли под кремом «шантильи».

…Наши…

Момо и The Supremes, как вовремя вспомнил, думаю, проснулся от собственного храпа.

Храпел так громко, что уж и собственных мыслей не слышал.

С трудом разлепил глаза, провел рукой по лицу, восстанавливая свои черты, на ладони остался мокрый след – видимо, сквозь пьяное бурчание и храп я еще и слюни пускал.

Хо-хо. Красавчик Джо[79].

Открыл глаза и тут же снова их закрыл.

Во дурак.

Напротив меня сидели две девушки. Одна страшненькая, эта сразу опустила глаза, посмеиваясь, а другая – суперкрасотка, она расстреляла меня взглядом, с негодованием вздохнула и поглубже вставила наушники.

Во дурак.

На страшненькую было наплевать, а вот красотка меня зацепила.

Прикрывшись остатками сонливости, я постарался придать своему лицу должную неотразимость и вернулся к игре уже с козырным раскладом в руках.

Я выпрямился, расправил плечи, заправил рубашку в штаны, поправил воротник, освежил прическу (слюни зомби лучше любого геля – фиксация гарантирована), пригладил брови, провел языком по пересохшим губам, потрескавшимся от алкоголя и морской воды, и включился в режим охоты.

Влекущие руки, едва заметное пренебрежение во взгляде, отталкивающем и держащем на прицеле, и беспощадная улыбка.

Я, конечно, о красавице говорю. У другой там поживиться было нечем, к тому же она уже спряталась за чтением книги.

Проблема заключалась в том, что я умирал от жажды и вместе с тем страшно хотел писать, но совершенно не желал привлекать внимание к проявлениям своей физиологии.

Так что я что было духу пожирал глазами красотку, правда, никакого духа в этом особенно не было, ибо он весь был сконцентрирован в мочевом пузыре.

Мальчик не сосредоточен. Абсолютно не сосредоточен. Или как раз сосредоточен, но не так уж хорош: тихоня меня не интересовала, а красотка меня игнорировала.

Хорош, плох, ладно. Бывает.

Не так уж хорош, но не только это. Тут была еще одна штука, которая не давала мне покоя…

Моя мама, как я уже говорил, когда рассказывал о торте, была учительницей.

Учительницей с большой буквы, всю свою жизнь посвятившей пробуждению и воспитанию ума и воображения.

Книги в нашем доме ценились. И даже очень. И даже в моем доме они по сей день играют важную роль.

В этой бедной лачуге, в старой душе, незрелой, но уже растерзанной, которая является моим основным местом жительства, книги, культура в целом – это то, что издавна изо дня в день расчищает, организует и поддерживает пространство.

Так вот, тут-то и вышла некоторая нестыковка: красавица (нежная кожа, великолепный загар, агатовые глаза, идеальный нос, обворожительный рот, волосы, которые так и хотелось гладить, грудь, за которую все отдашь, щеки, созданные для поцелуев, как и губы, шея, запястья, кисти, руки, тело… уф… заслуживающее обожествления) читала полную дрянь (представьте себе самое худшее) (нет-нет, еще гораздо хуже) (типа псевдороман псевдогуру для личностного роста той истинной глупышки, которая томится у вас внутри), тогда как дурнушка (плоская как доска, бледная, чахлая, плохо одетая, блеклые волосы, искусанные губы, обветренные руки, ногти в трауре, бровь проколота, нос проколот, татуировки на запястьях, все уши в гвоздиках, тело, заслуживающее презрения) читала «Дневник» Делакруа.

Ах, Купидон! Ну ты и плут!

Любишь же ты подразнить, толстощекий озорник.

Любишь же ты подразнить и поиграть на нервах твоей бедной и беззащитной дичи…

Красавица личностно росла, после каждой строчки проверяя экран своего телефона, а дурнушка покусывала ноготь (черный) большого пальца правой руки, левитируя в своей книге и не замечая ничего вокруг.

Поскольку ее губы тоже постепенно почернели, я сделал вывод, что под ногтями у нее не грязь, а тушь. Возможно, китайская. Да, именно китайская. Большой блокнот на пружине вместо планшета и отвратительный распахнутый пенал лежали под окном. Посреди всего этого разлада она выглядела очень даже целостной. Эта, по крайней мере, нашла себе подходящего гуру.

Ладно.

В туалет.

Я потревожил всю честную компанию и пошел опорожниться.

Закончив омовения, не вытерев руки и замочив штаны (в этом закутке так тесно и грязно), я распахнул дверь туалета и на́ тебе – угодил ею прямо в бедро моей бомбической красотки.

Красавчик Джо, возвращение.

Я извинился, она меня проигнорировала, она шла в вагон-ресторан, я последовал за ней.

3

Она читала чушь собачью, но была слишком соблазнительна, так что я начал большую игру.

А когда такой милый мальчик, как я, воспитанный очень женственной мамой и феминистски настроенным папой, способный признать аромат от «Диор», собственные ошибки и южный говор жительницы Ниццы, к тому же возвращающийся после трех дней на берегу океана, когда такой милый мальчик начинает большую игру, то уж поверьте, любая красотка сдастся в два счета.

Ну то есть, конечно, не совсем в два счета, нет. Не будем врать. Пришлось вложиться и деньгами (те, кому известны цены в буфете скоростного поезда, посочувствуют мне), и собственной персоной (пусть посочувствуют снова). Да, пусть посочувствуют, потому что поплясать мне перед ней пришлось не на шутку. И дай-ка я тебя похвалю, и о книжке твоей идиотской поговорю, и признания твои выслушаю об этой маленькой девочке, живущей у тебя внутри, которую тебе для начала надо утешить, если ты больше не хочешь быть идеальной добычей всяких манипуляторов и эни, и…

– Эни, это кто, прости?

– Нарциссические извращенцы.

– А, ну да…

…и дай-ка я еще тебе положу, и пусть твоя внутренняя малышка выберет, как всегда, самые дорогие пирожные, и я не посмею, конечно, достать купоны на еду, чтобы не выглядеть жмотом, и дай-ка я комплиментами тебя осыплю, и развеселю, и рассмешу, и растрогаю до слез (да, моя мама умерла в Рождество, и да, как видишь, я ездил на ее могилу… да, это печально… да, я принес ей сирени… она ее обожала… да, сирень быстро вянет, но важен сам жест… да, ты и правда очень глупа, но до чего ж хороша, и да, я правда очень глуп, но до чего ж хорош), и дай-ка я коснусь твоей руки, и дай-ка уберу с лица прядь волос тебе за ушко, и пусть я буду выглядеть от тебя без ума и даже заикаться стану, да-да, от избытка чувств, представляешь? Но… Так получается, это ты мною манипулируешь, что ли?! Погоди-ка, тут я уже совсем теряю голову… Скажи-ка, не одолжишь ли ты мне свою книгу, чтобы помочь мне справиться с этой ситуацией? Ладно… Давай. Если мы когда-нибудь поженимся, ты включишь ее в свое приданое, договорились? Как же ты

красива… Да, кстати, как же тебя зовут? Жюстина? Как героиню маркиза де Сада? Нет-нет. Ничего. Как ты красива, Жюстина. Ты идешь? Пойдем? Нет-нет, не ко мне, не прямо сейчас, на свои места.

А почему ты остановилась?

Что? Тебе надо позвонить? Кому? В бутик свадебных товаров? Нет, твоему парню.

А?

Твоему парню.

А, ладно. Ну что ж, так я пойду, ага. Но ты мне все-таки оставишь свой номер телефона, принцесса? Мы бы могли… Мы бы могли остаться друзьями.

Fuck.

Я вернулся на свое место с тем же чувством, что испытал вчера во время отлива: прополосканный, оглушенный, истасканный волнами; поджавши хвост и со старостью на плечах.

Черт… она была чертовски хорошо сложена.

И потом, мне так хотелось ласки…

Особенно сегодня вечером…

Ведь это все-таки моя невеста вышла замуж за другого, черт.

Моя делакруашная пьета́ заснула.

Я сел напротив и стал ее разглядывать против света.

Она напомнила мне Лисбет Саландер, героиню «Миллениума».

Она изуродовала себя, как большая, всеми этими своими прибамбасами и целым арсеналом артистической личности панко-готического толка, но во сне выглядела сущим ребенком.

Маленькая спящая куколка. Мечта эни.

Я пробовал мысленно ее отретушировать. Я отмыл ее, снял пирсинг, заклепки, смыл краску с волос, постриг, раздел, одел, свел с нее татуировки и намазал руки кремом.

Я сделал для нее подрамник, натянул свой холст и облизал кончик кисти, прежде чем обмакнуть ее в краску.

Я раскаивался.

О-ля-ля. Черт-те что.

А та, другая фифа все еще не вернулась. Она ему обо мне, что ли, рассказывает или как?

Там-да-да-дам! Красавчик Джо, реванш.

Знаешь, зая, я только что встретила одного человека, и мне, правда, надо поговорить с тобой об этом, потому что моя внутренняя малышка Жужу страшно боится снова потерять себя, и…

Или же она рассказывала обо мне одной из своих ниццких подружек… Да нет же, вот честное слово… Вот так, прямо в вагоне-ресторане… Ну да, там, где на стене висит дефибриллятор… Ну да… Ну да, говорю же тебе… Парижский красавчик… С золотой кредитной картой, в белой рубашке, весь загорелый… Да еще и сирота, представь? Знаешь, типа… Он такой горячий, прям чуть там не кончил… Многообещающе, скажи? Хи-хи-хи… Чего? Дала ли я ему свой мобильный? Ты с ума сошла… Парижане – все равно что лепешки из нутовой муки, их едят кончиками пальцев… Хи-хи-хи.

Хи-хи-хи. Убаюкиваемый нескончаемым потоком собственной глупости, я заснул.

4

– Мусье! Мусье! Плямо сичас, надо виходить! Поля на виход! Иначе отплавишься в депо на севелный вокзал, да.

Какой-то сенегальский стрелок[80] (нет, беру свои слова обратно, просто негр в коричневой форме и красной пилотке, уборщик, но я не знаю, как об этом сказать, чтобы не выглядеть маленьким белым расистом) (допустим, кузен милашки Лили, приехавшей из Сомали) (с точки зрения политкорректности, так, наверное, не лучше, зато позволяет мне ненароком упомянуть песню Пьера Перре[81], которого так сильно любила моя мать, познакомившая с его творчеством не одно поколение детей в том возрасте, когда учительница всегда права и все усваивается сердцем).

Ладно. Исправляюсь:
– Мсье, мсье… просыпайтесь. Вы прибыли в Париж.

Ох, как же мне было плохо. Ох, как же мне было холодно. Ох, как же тут было темно. И, ох, как же я был одинок в этом призрачном семейном отсеке.

Шум пылесосов бил мне по ушам, я скорчился, вздохнул, потер щеки – кожа как наждачка, встряхнулся и собирался уже было вылезти из этого проклятого отсека, когда заметил лежащий на столике лист бумаги.

Это была страница, вырванная из блокнота. Это был рисунок. Мой портрет.

Это был я, улыбавшийся во сне.

Я, благодаривший Натана, Патоша, Момо, Артура, Камиллу и всех моих друзей за то, что они все еще живы.

Что они по-прежнему есть.

И как же я был хорош… То есть, простите, как же хорош был портрет. Так хорош, что я едва осмеливался узнать в нем себя.

Но нет. Это был я. Я счастливый. Такой, каким я себя не видел уже тысячу лет. На самом деле я был не так уж и стар. И выглядел не так уж идиотски. И не так уж изможденно. Это был настоящий я. Красивый я. Я, нарисованный от руки. Такой, которого любили, пусть немного, но по-

настоящему, хотя бы то время, что потребовал этот набросок.

Под этим рисунком китайской тушью с размывкой имелась легенда, выполненная красивым, элегантным и очень гармоничным почерком, следующего содержания:

Мы живем одной жизнью, грезим о другой, и та, о которой мы грезим, истинна[82].

Не знаю почему, но я вдруг как-то сразу протрезвел. На меня навалилась пелена грусти. Не знаю почему. Быть может, потому, что в этом отражении я увидел себя таким глупцом…

Я взял свой подарок и ушел.

5

Это был очень длинный поезд – сдвоенный состав, и расстилавшийся передо мной перрон казался бесконечным, наступила ночь, я уже скучал по родным местам, и меня никто нигде не ждал.

Я долго шагал к мертвенно-бледному свету вокзала Монпарнас, ощупывая все свои карманы в поисках этой чертовой связки ключей.

Уже чуть было не плача.

Это все наверняка похмелье.

Похмелье. Усталость.

Мои глаза, которые вечно ничего не замечают, которые все теряют из вида, глаза калеки, их пощипывало.

Я сглотнул.

Я всегда сглатываю.

Пресловутая техника простуженного ныряльщика.

6

– Это, случайно, не твои?

В самом конце перрона, в месте его соединения с основной платформой, одна из моих попутчиц протягивала мне руку, в которой позвякивала связка моих ключей.

Которая из них?
О, да это как пожелаете, друзья мои!
Дух Анри, благодарю тебя

---

notes

Примечания

1

Мулан – главная героиня одноименного мультипликационного фильма студии «Уолт Дисней» (1998) по мотивам средневековой китайской баллады о Хуа Мулань – женщине, вступившей в армию.

2

Бэмби – олененок, главный герой одноименного мультипликационного фильма студии «Уолт Дисней» (1942), снятого по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена. Заяц Топотун – его лучший друг.

3

Арсен Люпен – главный герой романов и новелл французского писателя Мориса Леблана (1864–1941), выходивших с 1905 года, «грабитель-джентльмен», ставший впоследствии культовым персонажем, героем множества как литературных произведений, так и кино-, и телефильмов и сериалов.

4

Отрывок из блазона «Волосяной браслет» Меллена де Сен-Желе (ок. 1491–1558).

5

Отрывок из «Блазона об ухе» Альбера Леграна.

6

Отрывок из «Блазона о бровях» Мориса Сева (ок. 1501 – ок. 1562).

7

Отрывок из «Блазона о носе» Эсторга де Болье (ок. 1495–1552).

8

Отрывок из «Блазона о зубах» Эсторга де Болье.

9

Отрывок из «Блазона о пупке» Бонавантюра Деперье (ок. 1510 – ок. 1544).

10

Отрывок из «Блазона о вагине» Клода Шаппюи (ок. 1500–1575).

11

Отрывок из «Блазона о заде» Эсторга де Болье.

12

Финистер – самый западный департамент Франции, название которого буквально означает «край земли».

13

Последняя, но не менее важная (*англ.*).

14

Разновидность покемонов.

15

Самая маленькая порода собак.

16

Ум-Попотт – герой детской книги «Собака-невидимка» французского писателя Клода Понти.

17

Во Франции в среду у школьников нет занятий или короткий день.

18

Рождественский календарь, или адвент-календарь, – специальный календарь, показывающий время, остающееся до Рождества. Обычно делается в виде картонного домика с открывающимися окошками, где в каждой ячейке лежит конфета, записка с пожеланиями или маленький подарок.

19

Карточная игра.

20

Так называли солдат старой гвардии Наполеона, самых опытных и верных, имевших право жаловаться напрямую императору.

21

Отсылка к автобиографическому роману Маргерит Дюрас «Любовник» (1984), экранизированному в 1992 году Жан-Жаком Анно.

22

Отсылка к роману Жюля Амеде Барбе д’Оревилье «Старая любовница» (1851), по мотивам которого в 2007 году режиссер Катрин Брейя выпустила фильм «Тайная любовница».

23

Отсылка к известной оде Кассандре (1545) Пьера де Ронсара (1524–1585).

24

Отсылка к популярной французской песне (слова Леона Ажеля, музыка Эмиля Каррара, 1942), неоднократно использованной в кино и исполняемой по сей день (входила в репертуар Патрика Брюэля, Заз и многих других), рассказывающей о бесперспективной влюбленности девушки в обольстителя.

25

Настольная игра.

26

«Футуроскоп» – французский парк развлечений и аудиовизуальных технологий.

27

Настольная игра.

28

«Ариоль» и «Кид Пэддл» – популярнейшие детские комиксы.

29

Поль Моран (*фр*. Paul Morand, 1888–1976) – французский писатель, поэт, дипломат, друживший со многими видными деятелями искусств своего времени. Марсель Пруст написал предисловие к его первому сборнику новелл.

30

Отрывок из «Оды Марселю Прусту» Поля Морана (1915).

31

Текс Эйвери (*англ*. Tex Avery, полное имя – Фредерик Бин Эйвери, 1908–1980) – американский мультипликатор, режиссер, прославившийся своими лентами так называемой золотой эры голливудской мультипликации. Не разделял принципов достоверности и реализма, видя главное предназначение анимации в том, чтобы показывать зрителю вещи, невозможные в кинематографе.

32

Альфонс Алле (*фр*. Alphonse Allais, 1854–1905) – французский писатель и журналист, известный своими абсурдистскими выходками и черным юмором.

33

Имеется в виду одно из знаменитых французских вин области Бордо – «Шато Ля Миссьон О-Брион».

34

Романтическая кинокомедия Билли Уайлдера (1954) с Одри Хепберн и Хамфри Богартом в главных ролях.

35

Сорт французского твердого сыра.

36

Любовная трагикомедия Билли Уайлдера (1960) с Джеком Леммоном и Ширли Маклейн в главных ролях.

37

Промежуток времени от Рождества до Нового года называют кондитерским или конфетным перемирием, на это время военные действия и активная деятельность обычно прекращались.

38

Кинокомедия Билли Уайлдера (1955) по пьесе Джорджа Аксельрода с Мэрилин Монро в главной роли.

39

Драматический фильм Говарда Хоукса (1926) с Фредриком Марчем, Уорнером Бакстером и Джун Ланг в главных ролях.

40

Комедийный приключенческий фильм Говарда Хоукса, Генри Хэтэуэя, Жана Негулеско, Генри Костера, Генри Кинга по пяти рассказам О. Генри (1952) с Мэрилин Монро, Чарльзом Лоутеном, Энн Бакстер и др.

41

Фильм Говарда Хоукса и Дельмера Дэйвса (1947) с Лорен Бэколл и Хамфри Богартом в главных ролях.

42

Фильм-нуар Билли Уайлдера (1950) о трагедии забытых звезд Голливуда с Глорией Свенсон и Уильямом Холденом в главных ролях.

43

Фильм-нуар Билли Уайлдера (1944) по мотивам одноименной пьесы Джеймса Кейна с Фредом Макмюрреем и Барбарой Стэнвик.

44

Фильм-нуар Говарда Хоукса (1946) с Хамфри Богартом и Лорен Бэколл.

45

Фильм-нуар Билли Уайлдера (1951) о беспринципности современной журналистики с Кирком Дугласом и Джан Стерлинг.

46

Французский Дед Мороз.

47

Целоваться под веткой омелы, украшающей дом к зимним праздникам, – обычай в ряде европейских стран, пришедший из дохристианских времен, вероятно, из традиций друидов.

48

Музыкальный кинофильм Джина Келли и Стенли Донена (1953).

49

Клуб, названный в честь знаменитых американских танцовщиков и звезд Голливуда Фреда Астера (1899–1987) и Джинджер Роджерс (1911–1995).

50

А теперь (…), дамы и господа… О нет, черт, а теперь только для одного господина, прямо [перед вашими изумленными глазами] – знаменитый Луис-Лягушка [со своим еще более] знаменитым [номером чечетки]! (*англ.*)

51

Намек на фильм «Клоун» (1916) датского режиссера А. В. Сандберга с Вальдемаром Псиландером в главной роли.

52

Джин Келли (*англ*. Gene Kelly, 1912–1996) – американский актер, режиссер, сценарист, продюсер, хореограф и певец.

53

Жорж Эжен Осман (*фр*. Georges Eugène Haussmann, 1809–1891) – французский государственный деятель, префект департамента Сена, сенатор, член Академии изящных искусств, градостроитель, во многом определивший современный облик Парижа.

54

Фильм Винсента Миннелли с Джином Келли и Лесли Карон (1951), премия «Оскар» за лучший фильм.

55

Теперь, джентльмен и джентльмен (*англ.*).

56

Хореографический термин (от *фр*. entrechat) – прыжок вверх с перебоем ног.

57

Симулятор фермерской жизни – ролевая игра для «Нинтендо».

58

О времена, о нравы (*лат.*).

59

Фильм Гарри Маршалла (1990) с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.

60

Поль Гримо (*фр.* Paul Grimault, 1905–1994) – французский режиссер-мультипликатор, художник и писатель.

61

Хаяо Миядзаки (*яп.* 宮崎 駿, род. 1941) – японский режиссер-аниматор, писатель.

62

Бастер Китон (*англ*. Buster Keaton, 1895–1966) – американский комедийный актер и режиссер, один из величайших комиков немого кино.

63

Базз Лайтер (*англ.* Buzz Lightyear) – космический рейнджер, вымышленный персонаж и один из главных героев франшизы «История игрушек».

64

Жак Деми (*фр*. Jacques Demy, 1931–1990) – французский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, представитель «новой волны».

65

Студия «Гибли» (*яп*. スタジオジブリ) – японская анимационная студия, основанная в 1985 году Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой.

66

Оноре Викторен Домье (*фр*. Honoré Victorin Daumier, 1808–1879) – французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.

67

«Инопланетянин» (1982) – фантастический фильм Стивена Спилберга.

68

Анимационный драматический фильм Исао Такахаты (1988).

69

Натуральное чистящее средство.

70

Имя Луи (Louis) по-французски произносится так же, как слово «слух» (l’ouïe).

71

Карл Мартелл (ок. 687–741) – майордом франков в 717–741 годах, разгромивший арабов в битве при Пуатье.

72

Мотауном по названию легендарной детройтской звукозаписывающей компании Motown Records называют одно из направлений ритм-энд-блюза.

73

Популярнейшая американская женская группа (1959–1977), выступавшая в стилях ритм-энд-блюз, поп, соул и диско.

74

«Их сердцам больше не вынести этого» (*англ.*) – обыгрывается название песни The Supremes «My Heart Can't Take It No More».

75

Горная дорога вдоль моря.

76

«Легко и коротко одета» – комедия Жана Лавирона (1953) с Луи де Фюнесом.

77

Имеется в виду байонская ветчина.

78

Оссо-ирати (*фр*. Ossau-Iraty) – сырой прессованный баскский сыр из овечьего молока.

79

«Joe-la-classe» (*фр.*). – песня популярного французского автора-исполнителя Тома́ Ферсена.

80

Войсковое формирование французской колониальной армии.

81

Пьер Перре (*фр*. Pierre Perret, род. 1934) – популярнейший французский певец, композитор, автор-исполнитель, писатель и актер.

82

Цитата Жана Геенно (1890–1978), французского педагога, писателя и литературного критика.